

СИБИРИАДА

ВЛАДИМИР  
МАКСИМОВ

СНЕГ,  
УХОДЯЩИЙ  
ВВЕРХ...

Сибиряда

Владимир Максимов

**Снег, уходящий вверх... (сборник)**

«ВЕЧЕ»

2016

## **Максимов В. П.**

Снег, уходящий вверх... (сборник) / В. П. Максимов — «ВЕЧЕ»,  
2016 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-8978-9

В новую книгу известного сибирского прозаика Владимира Максимова вошли повести и рассказы разных лет. Но все вместе они создают удивительную и своеобразную картину жизни Восточной Сибири, так похожую и непохожую на жизнь Европейской России... Здесь и романтика юности, жажда познания мира и самих себя, охватившие героев повести «Мы никогда уже не будем молодыми» – сотрудников Иркутского лимнологического института, отправившихся в свою первую настоящую экспедицию на Байкал. И спокойное, умиротворенное погружение в воспоминания в кругу старых друзей, нежданно выбравшихся вместе на несколько дней отдохнуть вдали от городской суеты на старой биостанции со смешным названием Верхние Коты – в повести «Пристань души». Это и три дня поминовения – три дня почти языческой тризны по безвременно ушедшему близкому другу, оставившие неизгладимый след в душе главного героя повести «Два букетика синих ромашек». И наконец, прекрасные, яркие и пронзительные сцены-зарисовки сибирской жизни в рассказах «Загон», «Снег, уходящий вверх...» и «Рекорд в подарок».

ISBN 978-5-4444-8978-9

© Максимов В. П., 2016

© ВЕЧЕ, 2016

## Содержание

Набережная Жака Ива Кусто (Вместо предисловия)	6
Пристань души	11
Мы никогда уже не будем молодыми...	44
Конец ознакомительного фрагмента.	47

**Владимир Максимов**  
**Снег, уходящий вверх...**  
*Сборник*

© Максимов В. П., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

\* \* \*

## Набережная Жака Ива Кусто (Вместо предисловия)

... Обычно посвящение – к книге, рассказу, стихотворению ли – автор адресует людям...

– Виктор Гюго в своем посвящении к роману «Труженики моря» писал: «Посвящаю эту книгу гостеприимным и свободолюбивым скалам, уголку древней земли нормандской... суровому, но радушному острову Гернсею, моему нынешнему убежищу – быть может, моей будущей могиле».

Меня поразили эти слова. И особенно: «свободолюбивые и гостеприимные скалы». Он обращался к ним как к одушевленному предмету, как к людям.

Мне подумалось тогда, что надо быть или совсем одиноким или любить этот край как очень близкого тебе человека, чтобы написать такое; и чтобы иметь желание даже после смерти не разлучаться с этим уголком земли.

Пожалуй, смертью-то и проверяется истинная любовь...

Желание даже после смерти, а иногда хотя бы после смерти, не разлучаться с неким уголком земли высвечивает это глубинное чувство. Не потому ли так изматывающа для русского человека ностальгия, что жить-то, худо-бедно, он вдали от родины еще может, а вот и после смерти быть на чужбине – ему страшно. И еще я подумал о том, что я, так много колесивший по земле, побывавший на морях и океанах и видевший красивых много мест: Сахалин и Осетию, Курилы и Карпаты, вулканы Камчатки и свежие снежные, до ненатуральности чистые вершины Сихотэ-Алиня, аккуратные эстонские пейзажи с их пушистыми белыми туманами над болотцами и беломорские заброшенные деревни в их закатной и суровой красоте, и Забайкальские грустные желтые дальние степи; овеваемый, обдуваемый, продуваемый ветрами Белого, Черного, Балтийского, Каспийского, Берингова, Японского, Охотского морей и Тихого океана, продубивших своей солью мою кожу... могу ли я из всей этой мозаики мест выбрать уголок, которому бы хотелось посвятить подобные слова при жизни. И в котором бы хотелось лечь безмолвным после одной.

И, поразмыслив, проверив эталоном смерти крепость своих чувств, я понял, что такой уголок есть. Что он давно уже живет у меня в сердце... Это Байкал: Ламу т. е. – море, с эвенкийского; Бэй-Хай – северное море, с китайского; Байгал Дилай – большое озеро (море), с монгольского; Бай-Куль – богатое озеро, с тюркского (я бы добавил: щедрое на красоту озеро. А красота – это язык сверхсознания, познание неосознаваемого и, пожалуй, высший дар природы) и маленькая деревенька Большие Кусты, притулившаяся у самого берега Священного озера-моря.

Я хочу посвятить это повествование, если у меня хватит сил его написать до конца, гордым прозрачно-бело-голубым байкальским скалам, видимым на другом берегу; водам его неласковым, но влекущим к себе своей глубинной чистотой; свежим его ветрам, приносящим бодрость и веселье; крупным изумрудно-синим льдинкам звезд над ним; прозрачному до жути, отполированному ветром льду и маленькой деревеньке Большие Кусты, где мне было всегда так хорошо и покойно, как ни в каком другом месте. И где не однажды ночами я слушал плавное дыхание волн, прикрывшись пахнущим овчиной тулупом на сеновале и глядя, не в силах оторваться, в завораживающую бездну черного неба, угадываемую только из-за звезд и смотрящего, как в зеркало, в Байкал. И где, только однажды ночью, там же на сеновале, я подслушал жалобные, усталые вздохи осеннего ветра, может быть, прилетевшего откуда-нибудь с высокогорного плато, расположенного у горы Кинабалу острова Калимантан в Индийском океане...

Именно тогда, когда ветер как бы проходил сквозь меня, я осязаемо почувствовал, что я лишь частица безмерно-огромного мира, частица этого ветра и в то же время я – это весь

Космос... И давние, чистые, давно забытые и еще не случившиеся воспоминания, размытые, как акварель, ожили и слились со мной. И мне тогда казалось, что я понял, о чем плакал ветер...

Он скорбел обо всем и обо всех: о планете, на которой родился, и о нас, на планете живущих, – обо всех: от муравья до человека. И о том, что он жив лишь до тех пор, пока жива и ненарушима Земля. И о вечности своей – которая есть такая невыносимо тяжелая ноша...

А утром я проснулся от холода (замерз нос) и увидел другой, белый, яркий, искрящийся, мир. Белые, с блестками, от инея крыши, белая трава, доски и перила мостка через реку, в которой вода стала сразу же темной...

Я помню, какая беспричинная радость, какое счастье вдруг возникли во мне от простого ощущения жизни и пребывания в этом мире, в этом месте именно сейчас: в этом столетии, в эти часы и секунды, которых никогда уже больше не будет даже для тех, кто проснется часом позже...

Из этих воспоминаний-ощущений я и хочу составить Нечто, сотканное из продуктов человеческого духа...

Когда казаки «Афонасея Пашкова» вместе с опальным протопопом Аввакумом в лето 1656 года по указу Тишайшего царя Алексея Михайловича отправились из Енисейска в Забайкалье (казаки отбывали службу, Аввакум – ссылку): «На 40 дощаниках с 420 стрельцами» – почтовой станции Листвянка еще и в помине не было...

В мае 1657 года, поднявшись от Братского острога по вольной, тогда еще не изуродованной плотинами Ангаре, Пашков с казаками вышел к Байкалу, по которому местами таскало лед, хотя жара и сушь стояли несусветные.

В листовничной, еще совсем голой, роще на высоком берегу устроили привал.

Отдыхали сердце и глаз от простора, от темно-фиолетовых спокойных вод с плавающими кое-где белыми, режущими глаз от отраженного яркого солнца льдинами, казавшимися издали монолитными и прочными, а вблизи – рыхлыми, пропитанными водой.

Прохладный ветерок с Байкала уравнивал нестерпимость жары на берегу...

Когда кто-нибудь из казаков спускался к Байкалу зачерпнуть водицы, то дивился ее прозрачности и чистоте. Через воду было видно все, как сквозь воздух. И галька, лежащая на глубине двух-трех метров, казалась покрытой лишь тоненьким слоем спокойной воды. Верилось: протяни руку – и черпнешь вместе с водой в ладони разноцветные камешки.

Пока казаки отдыхали и готовили еду, Аввакум записывал свои впечатления: «плавания против воды» – по Ангаре, где взор с двух сторон был как бы зажат скалистыми берегами, покрытыми лесом, и устремлен лишь вперед; и от расширившегося вдруг, до необъятности, до неохватности взглядом – особенно если смотреть на северо-восток – мира вольной воды Байкала. От этого раздвинувшегося внезапно пространства захватывало дух...

«Вода пресная... в океяне-море большом». И, несмотря на трудности ссылки, на усталость, прорывался в записи Аввакумовы и восторг от увиденного. «Первые мы в тех странах с женою моею и детьми учинились от патриарха (Никона. – В.М.) в такой пагубной, паче же хорошей ссылке».

На этом месте, где отдыхали казаки, возникнет потом почтовая станция Листвянка. Об этом уведомят потомков академик И. С. Георги – участник знаменитой экспедиции «великого северного естествоиспытателя» Петра Симона Палласа, который «13 июня 1772 года сел для плаванья на плоскодонный полудошаник, управляемый 12 матросами из казаков» и «первым из естествоиспытателей оплыл озеро», «только благодаря чему представилась возможность составить сколько-нибудь верную его картину». (Так свидетельствует географ Карл Риттер.) Хотя, уже задолго до Георги, в конце XVII столетия, Южный Байкал представлял собой весьма оживленный торговый путь между Россией и Китаем.

Выйдя из Иркутска, купеческие парусно-гребные (никакой тебе солярки, никакого мазута на воде) дощаники поднимались по Ангаре, до Байкала, добирались вдоль берега до села

Голоустного, где содержалась переправа, действующая в самом узком месте озера – напротив дельты Селенги (25 км. – *В.М.*), а затем вверх по Селенге доходили до Удинска и Селенгинска, чтобы, преодолев еще несколько десятков километров по суше, достигнуть Кяхты – «столицы» китайско-русской торговли.

Ко времени плавания Георги прошло более 130 лет с момента проникновения русских на Байкал (1643 год), тем не менее путешественник замечает их малочисленность: «... все русские поселенцы, живущие непосредственно на берегах озера... составили бы не очень большое селение». А селения Большие Кусты тогда еще и вовсе не было...

Штиль был полный. Вода, особенно вдаль, казалась туго натянутым полотном стального цвета. Парус безжизненно повис. Казаки от почтовой станции Листвянка гребли уже третий час. Июнь в Сибири стоял жаркий.

Казаки остались в одних штанах. Все остальное скинули с себя. Идя на веслах против течения Ангары, они не испытывали такой изнуряющей жары, как теперь на Байкале, ибо навстречу им текла не только река, но и воздух, как бы приклеенный к поверхности воды и уносимый ею куда-то вниз, по течению. К Енисею.

Пот заливал глаза. Скатывался по ложбинке спины. Кожа на руках и лицах казаков была темно-коричневой и разительно отличалась от белизны тел, разделенная невидимой, но явно выраженной на шее и выше кистей рук чертой.

Георги, сделав очередную запись, стал присматриваться к берегу (в одном месте, почти у воды, он различил среди кустов большого бурого медведя, внимательно следившего за дощаником, как за большой рыбой), подыскивая место для привала.

Мерный, ленивый всплеск весел и жара клонили ко сну... Берега в основном были скалистые. Пристать к таким берегам было негде. («Не дай бог оказаться в таком месте во время бури, – подумал Георги. – Расхлещет о скалы») А ведь весь двухтысячекилометровый путь вокруг Байкала еще предстояло пройти. На этом пути пока что были лишь первые километры. И должен был быть первый после Листвянки, после истока Ангары привал на Байкале...

В долине первой встреченной ими речушки, узкой и мрачной, они не остановились.

Версты через три воздух наполнился сочным, вкусным запахом черемухи.

Берега стали положе. И скоро казаки и Георги увидели белое ее кипение, колеблемое ветром, идущим от берега, из пади.

Большие кусты – снизу доверху все сплошь в белом цветении, по долинам двух небольших рек – почти касались своими ветвями воды. Здесь, у больших кустов, и устроили первый привал.

Пока казаки готовили пищу, Георги прошелся по берегам обеих рек, впадающих в Байкал на небольшом расстоянии друг от друга.

В устьях он обнаружил полуразрушенные кты или ктцы, как говорят в Сибири, – плетневой перебор, ловушка через узкую речку для удержания зашедшей в нее рыбы. «Значит, кто-то когда-то здесь промышлял»...

Так он и записал в своем дневнике: «После темной пади с рекой еще две реки, примерно в трех верстах от первой, впадают в Байкал – Большая и Малая Котинка...»

Охотская морская команда при Иркутском адмиралтействе, просуществовавшая с 1764 по 1839 год – наряду со Школой навигации и геодезии производившая еще и топографическую съемку берегов Байкала, – так и оставит без изменения названия рек Большая и Малая Котинка на своих картах...

Говорят, что и деревня, потом возникшая в этом месте, сначала тоже называлась Большие Коты, а не Большие Кусты...

Да и по сей день нет единого мнения, как именовать деревню. То ли как в карте, составленной охотской морской командой, писано: Большие Кусты (хотя уже кустов таких давно нет

в этом месте), то ли Большие Коты, как называют деревню местные жители, сместив незаметно ударение с первого на второй слог.

Вообще каждый называет деревню так, а не иначе, в зависимости от своей версии.

Местные жители считают, что название деревни перекинулось от названия рек, через нее протекающих.

Возможно – и это уже домыслы ученых, – название связано с эвенкийским словом: кото – нож – палица, применяемая для очистки тропы от мелких деревьев; или с ктами – катаной каторжной обувью...

А каторжники и лихие люди, видно, здесь водились...

Недаром же одна из падей, неподалеку от деревни, названа Варначкой...

Одним словом, пусть читателя не смущает, если в ходе повествования я буду пользоваться то одним, то другим названием одной и той же деревеньки.

Вообще же история Больших Кустов уходит своими корнями в начало прошлого века: золотоискательство (речки Большая и Малая Котинка, так же как и река Крестовая в Листвянке, оказались золотоносными), стекольное дело. Уже в нашем веке: зверопитомник, биостанция... И кузница здесь была, и кузнецы знатные, если не блоху, то уж лошадь могли подковать мастерски...

Но лошадей в Котах теперь нет... Я застал там последнюю лошадку, когда впервые, лет двадцать назад, приехал в Большие Кусты в экспедицию, и когда полюбил это место, как говорят, с первого взгляда. С его почерневшей от времени деревянной часовенкой, открытой всем байкальским ветрам и стоящей на взгорке, обращенном лицом к Байкалу, возле которой уже едва различимы бугорки могил когда-то упокоившихся здесь людей. (При мне еще стояли возле некоторых бугорков покосившиеся «тумбочки» со звездочками и отполированные временем и ветром листовничные кресты.) С его скалистым «гребешком», тянущимся вдоль реки. С его людьми – добрыми и далекими пока от нашего сумасшедшего городского мира с его так называемым техническим прогрессом...

Я понимаю, что жизнь не законсервируешь, но от всей души желаю, чтобы деревня Большие Кусты оставалась подольше такой, какая она есть, какой она мне запомнилась. Чтобы не дотянулись до нее дороги, как дотянулись, увы, провода, изменив круглосуточно-доступной теперь электроэнергией сам лик деревни, которая до этого снабжалась электричеством от движка. И имела поэтому и свой особый звук, и свой особый облик...

Когда в полночь умолкал движок, то вся деревня погружалась в темь. И глаз вдруг замечал, как ярко светят звезды.

Некоторые окна тоже начинали янтарно светиться из-за зажженных в домах керосиновых ламп с их теплым, мягким, красновато-желтым светом. Разнося еще и давно забытый, приятно волнующий запах керосина, если сидишь рядом с лампой.

А когда движок работал дольше обыкновенного, это означало, что или есть соответствующее распоряжение по биостанции (движок принадлежал ей), так как идет суточный опыт и нужны свет и непрерывная работа холодильника, или, например, зимой, в Новый год движок работает планово до 2 часов ночи, или – и это уже, как правило, летом – студенты биофака Иркутского университета, проходящие в Котах практику, уговорили механика – «директора света» – погонять движок немного дольше, чтобы потанцевать под магнитофон в своей столовой, над входом в которую на прибитом к доскам куске жести черной краской готическим шрифтом написано: «Корчма “Прожорливый гаммарус”»...

Это студенты изошряются...

А вот и творчество местных жителей. Тоже на оцинкованном куске жести, прибитом к бревенчатой наружной стене «мастерских», где стоит и движок и которые как раз этим боком выходят на дорогу, идущую от пристани в деревню, наивно и трогательно написано:

Прочти!  
Мы требуем, чтобы по праву  
Кусты и деревья, и травы —  
Бесценный клад кислородный —  
Любил и берег человек.  
А тех, кто их копотью губит,  
Тех, кто их безжалостно рубит,  
Судить судом всенародным,  
Чтоб с варварством кончить навек!

## Пристань души

*Пятница. Вечер*

К монотонному, убаюкивающему гулу подвесного мотора, похожему отсюда, из-под плотно закрытого брезентового тента моторки, на жужжание большого пушистого шмеля, прибавился еще один, сначала едва различимый, механический звук...

Это работа дизельного движка.

Значит, мы уже на подходе к Большим Котам... По воде звук разносится далеко...

Я открыл глаза и увидел сквозь ветровое стекло, по ходу лодки, несколько – в квадратный дециметр, не больше – янтарно светящихся окон в домах, прилегающих к биостанции...

Под тентом было недрушное, приятное тепло и слегка пахло бензином. Глаза слипались. Двигаться было лень.

Я косил глаза на «капитана» нашей посудины. Лицо его было сосредоточенно-неподвижное и подсвечивалось снизу зеленоватым светом, идущим от приборного щитка, смонтированного им самим.

Неохота было поворачивать голову назад, чтобы узнать, как там наши попутчики: Кристина Комич, потомок обрусевших, сосланных Александром II в прошлом веке в Сибирь польских повстанцев, даже и живущая на улице Польских Повстанцев; и моя жена с нашим двадцатимесячным ребятенком.

Это был наш прощальный визит в Коты до следующего лета, который мы обычно совершали на ноябрьские праздники. А в этом году к двум праздничным дням прибавилось еще два выходных. Так что нас ожидали целых четыре дня безмятежного, тихого счастья. Хоть и сказал поэт: «Я знаю счастья нет... Но есть покой и воля».

В данном случае наша воля была направлена на то, чтобы вырваться из суетного, холодного и такого мрачного в начале ноября города. А покой нас ожидал в добротном бревенчатом доме, принадлежащем биостанции университета, в котором работали Кристина и моя жена. И в доме этом была большая и жаркая печь, и окна его глядели на Байкал...

Мотор сбавил обороты. Я открыл глаза. И снова увидел янтарно-светящиеся окна некоторых домов биостанции – только теперь они были уже почти в свою натуральную величину.

На траверзе, слева по борту, была падь «Жилище». С одиноким, уже года два пустующим домом лесника, силуэт которого мрачно вырисовывался в зеленоватом лунном свете, как бы обведенный по контуру светлой линией. Маленькое сельское кладбище, которое было в этой же пади, скрывала темнота.

Чуть дальше пади, на прибрежной гальке, под крутым берегом то вспыхивал, то гас брошенный кем-то костер с кочкой ярко-малиновых, при порывах ветра, углей. Иногда ветер подбрасывал искры вверх, к темному небу. Искры взлетали и таяли, как снежинки, не достигнув звезд. А падающая звезда сгорала, не достигнув искр. И было во всем этом что-то еще от мотылька, летящего к губительному свету...

Я будто бы глядел на этот умирающий костер не сбоку, а сверху...

Сначала с высоты темного насупившегося над ним крутого берега. Потом с вершины горы, расположенной чуть дальше, за этим высоким берегом, когда видна лишь маленькая малиновая точка, пульсирующая от дуновения ветерка, как живой огонек светлячка. Потом из черноты и холода космоса, когда вся земля наша – только точка с одиноким костром на пустом берегу и со всеми материками, городами и нашими жизнями...

Этот забытый костер на пустом берегу вдруг наполнил меня таким одиночеством и тоской, как будто догорала жизнь моя или моих близких. Или сгорала, как падающая звезда, моя планета. Но, как ни странно, эта внезапная тоска и отчаяние одиночества не были болезненны,

а были даже приятны и очистительны, какими бывают долго копившиеся и хлынувшие вдруг, облегчающие душу слезы.

Виктор выключил мотор, когда мы вошли в Г-образный пирс биостанции.

Лодка по инерции в полной тишине продолжала двигаться по темной спокойной воде...

Потом она плавно ткнулась носом в прибрежный песок, мягко зашуршавший о ее днище, и остановилась.

Тонкая кромка прибрежного песка, как и все вокруг, была залита таинственным волшебным лунным светом. Песок от этого света казался совсем белым и плотным.

Я спрыгнул с носа лодки. Раскинул руки и закричал: «Коты – наркоз моей души!»

– Тише ты, – шепотом сказала жена, выбираясь из лодки (которую Виктор уже успел привязать) с сынишкой на руках. – Ребятенка разбудишь.

– Вы разгружайтесь, а я пока пойду Митюшку уложу, – сказала Наташа и пошла по тропинке к дому, слегка покачивая его на руках.

– Иди! Не бойся! Здесь не город! И ты останешься цела, – продекламировал Виктор. Он еще больше откинул тент, и мы стали выгружать на песок наши сумки, рюкзаки...

Когда все было закончено, Виктор посмотрел на море, на небо и сказал: «Погода вроде не испортится... Завтра еще Алик с Ольгой должны подкатить... Он обещал омулька копченого привезти...»

Алик с Виктором были друзьями по университету, где учились на одном курсе физико-математического факультета, который и закончили лет пять назад. Алик еще в университете, на последнем курсе, женился и теперь был отцом семейства с тремя детьми, последний из которых родился полгода назад.

Моя жена и Кристина тоже учились на одном курсе университета, только на биофаке.

Когда протекала студенческая жизнь моих нынешних друзей, еще в полном ходу были споры о «физиках» и «лириках».

И вот три физика, этаких «три товарища» из романа Ремарка: Виктор, Алик и... еще кто-то, с кем мне так и не довелось познакомиться, одно лето работали в мини-стройотряде из трех человек на биостанции. Месили бетон, заливали фундамент, клали брус. Одним словом, помогали университету, и институту биологии при нем, построить еще один – на сей раз аж двухэтажный! – лабораторный корпус для нужд биостанции.

Корпус этот потом каким-то странным образом сгорел. Сгорели и студенческие мечты трех физиков: о кругосветном путешествии на яхте (которую они строили после работы прямо на берегу), но привязанность к этому месту осталась...

В то же лето «лирики»-биологи по окончании первого курса проходили практику в Котах.

Ловили бабочек, ручейников, гаммарусов. Определяли их видовую принадлежность, зубрили латынь. Усердно смотрели в микроскопы на каплю воды, убеждаясь, теперь уже на опыте, что в капле воды отражен весь мир. Обедали на открытой веранде с двумя пристройками с боков: для кухни и склада...

За общим столом корчмы «Прожорливый гаммарус», куда вело высокое двускатное крыльцо, ступени которого были выкрашены в алый цвет, и познакомились наши «физики» и «лирики».

Конечно, им проще всего было бы познакомиться в том же «Прожорливом гаммарусе» вечером, когда на веранде «с видом на море» устраивались танцы под магнитофон, где вперемежку шли песни «Битлов», Высоцкого и Демиса Руссо с его особенно нравившейся студентам песней «Good-bue, my love. Good-bue!» «Прощай, моя любовь. Прощай!»

Они все были так молоды, так счастливы от своей молодости, от своей самостоятельности, от своей, как им казалось, взрослости, от великолепной природы, окружавшей их, что им не хватало некоторой горчинки, которая бы сделала их жизнь еще наполненнее. (Так, хорошо приготовленному блюду не хватает порой острого соуса.) Поэтому, еще по-настоящему не

полюбив, они, в своем воображении, почти все уже прощались со своей гипотетической и роковой любовью.

Да и полюбить кого-то на курсе, по мнению девушек, было мудрено, ибо биофак состоял в основном из них. Учились, правда, на курсе несколько парней... Но что это были за парни! Костистые какие-то, лохматые и веселые до безобразия. Никакой романтичности, никаких загадочно-проницательных взоров... И ржут, как кони, своим же нелепым шуткам... Вот трое физиков из стройотряда – совсем другое дело. Во-первых, старшекурсники! Во-вторых, загадочно-молчаливые. Плотные. Темноволосые. Жалко, что на танцы вот не ходят. Яхту, видите ли, строят вечерами. И название-то какое выпендрожное придумали: «Кварк». Нет чтобы назвать «Ассоль», например... «На лицо упала мне морская соль. Это мой кораблик. Это я, Ассоль...»

Итак, «физики» долгими летними вечерами, «в свободное от основной работы время», строили яхту и не ходили потому на танцы, которые биологи устраивали почти каждый вечер в корчме «Прожорливый гаммарус», а наши «лирики» Наталья и Кристина не ходили на танцы по другим причинам...

Кристина вообще презрительно относилась к танцам, где кавалеров меньше, чем дам, а танцевать со своими подружками, как это делали ее однокурсницы, она не желала. А Наталья не ходила на танцы из солидарности с подругой, хотя танцевать любила. И ей, собственно говоря, было все равно: танцевать с кем-нибудь или одной... И вечерами в бревенчатом доме со множеством кроватей в каждой комнате, когда остальные «скакали», как говорила Кристина, они читали. Наталья – «Курс биологии» Оуэна, Кристина – детективы.

Но перст судьбы неотвратим. И потому наши «физики и лирики» «в один прекрасный вечер» все-таки встретились за общим столом корчмы «Прожорливый гаммарус».

Случилось это так.

Во время ужина все лавки, расположенные буквой «П», возле двух длинных столов (начинающихся прямо от стены с раздаточным окном в центре ее) с проходом посередине между ними были заняты биофаковцами, уплетающими свою вечернюю порцию каши с компотом. И только возле физиков, сидящих с краю одного из столов, было некоторое свободное пространство.

Кристина и Наталья получили у раздаточного окна свою миску каши и кружку компота и остановились, присматриваясь, куда бы им сесть... Никто из биологов из-за стола еще не выходил. Физики тоже сосредоточенно и молча (на сей раз их было только двое) жевали в своем углу. Наталья направилась в их сторону, села рядом на лавку и позвала Кристину. Кристина с гордым видом прошагала по веранде и села рядом с Натальей, почти вплотную прижав ее к одному из физиков, которые их присутствия «не заметили».

Тот, который сидел напротив, как бы после минутного раздумья вернувшись к прерванному разговору, сказал: «Нет, Алик, ты не прав...»

Тот, к кому он обратился, удивленно вскинул брови.

– ...Кварки – это не гипотетические частицы, из которых состоят все адроны. Кварки – это такая же реальность, как женщины, например. И, так же как женщины, они неуловимы и необъяснимы. Они с нами, – он указал ложкой в сторону Натальи и Кристины, – и в то же время их с нами нет. Они погружены в себя, как ложки в кашу. Они загадочны и непостижимы, как сама Био – то есть жизнь. И разгадать загадки Био под силу только Логии, а еще точнее – био-логии, то есть науке о жизни, а не какой-то там абстрактной физике. Не так ли, девочки? – обратился он к Наталье и Кристине.

Наталья весело захихикала. Ей понравился этот каламбур. Кристина сердито посмотрела на нее и молча продолжала есть.

– Вот видишь, Алик, как я прав. Они даже не реагируют на мой вопрос. – Он смотрел уже только на Кристину. – Они существуют в другом измерении. Они эфемерны, как кварки.

– Трепач, – незлобно сказала Кристина.

– Ну вот, уже и оскорбления начались, – с деланой обидой сказал Виктор, – а ведь я только хотел узнать, чем кроме каши заняты эти прелестные головки? Какие мысли, так сказать, витают в них? Над чем бьется биологическая наука?

– Да мы в основном виды определяем, – начала оправдываться Наталья.

– Точно, – подхватила Кристина. – Сегодня как раз определяли новый вид: «Драконюга двугривая», основным лакомством которой является бетон. Смотрите, как бы мы ее на ваш фундамент не натравили. Она его вмиг схрумает и не заметит даже, если учесть скорость ее размножения...

– О размножении, пожалуйста, не надо. Я думаю, этот щекотливый вопрос мы обсудим с вами, – он слегка наклонил голову в сторону Кристины, – в другой раз и в другом – не за столом, я имею в виду – месте. Не так ли?

Кристина покраснела. Особенно уши. Они стали ало-прозрачными.

Виктор продолжал:

– Не вводите в смущение бедных физиков, далеких от физиологии. Мы люди тонкой организации. Homo urbanus, так сказать... Латынь, надеюсь, изучаете?

– Тонкий в обращении, образованный человек, – слегка сморщив лоб и серьезно, как на экзамене, перевела Наталья.

– Не верьте вы ему насчет тонкой организации, – вмешался до сих пор молчавший Алик. – Никакой он, да и все мы, не Homo urbanus, а Homo sapiens ferus...

– Одичавший человек; человек, впавший в звериное состояние, – не дав договорить Алику, уже бойчее и веселее перевела Наташа.

– Вот именно, человек, впавший в звериное состояние... От ежедневных многоразовых замесов раствора, из которого мы льем свою Китайскую стену...

– Побраться некогда! – проводя рукой по своей густой щетине, воскликнул Виктор.

– А вам идет, – кокетливо вставила Кристина.

– И все же, Алик, не могу согласиться с твоим определением. Я уж скорее Homo faber – человек делающий, – опередил он Наталью, уже наморщившую лоб и готовую к переводу.

– Homo трепачеус ты, – улыбнулась Кристина...

– Это не латынь, – констатировала Наталья.

– ...Ну-у, в той массе достоинств, которыми я обладаю, – потянулся Виктор, – в чем вы, надеюсь, скоро убедитесь, просто необходимо, для приличия, иметь хотя бы один недостаток. Если, конечно, считать недостатком искусство риторики. Хотя, скорее всего, вы все-таки не правы, потому что ваши взгляды в данной концепции ассоциируются с мистификацией парадоксальных иллюзий и диаметрально противоположны титанически согласованным явлениям Мирового Разума... Будут возражения?..

Ужин уже давно кончился.

Дежурные студенты с той стороны раздаточного окна домывали последние чашки и кружки, позвякивая ими...

На веранде почти никого не осталось.

\* \* \*

– ...Ландау еще в 50-е годы делил науки на естественные, неестественные и противоестественные, относя к последним науки общественные, – говорил Алик, втянувшийся, то ли с самим собой, то ли с Натальей, внимательно слушавшей его, в какой-то спор.

Он рубил ребром ладони воздух и говорил напористо, с азартом.

Кристина с Виктором потягивали компот из своих кружек, обмениваясь улыбками, взглядами и иногда как бы лениво пикируясь отдельными фразами.

– ...А вообще-то, – уже спокойнее подытожил свои мысли Алик, – нет никаких – ни точных, ни естественных – наук, есть просто наука. И диалектики никакой нет – есть просто жизнь... Так что приходите, девчонки, к нам на костерок. Посидим, попоем под гитару... А то живешь вот так, не зная женской ласки, как говорит наш друг Сергей, и чахнешь на корню, – уже дурашливо закончил он.

– Ой, как интересно, мальчики! – поддельваясь под снисходительное «девчонки», тоже дурашливо воскликнула Кристина. – Кто же из вас освоил инструмент?

– Кто освоил, того здесь нет, – в тон ей ответил Алик, – но завтра непременно будет.

– Тогда у меня к вам... мальчики, еще одна небольшая просьба, – продолжала дурачиться Кристина, – возьмите нас на необитаемый остров на своей яхте. На острове, надеюсь, можно будет затронуть темы «рекомендуемые к изучению: после 16 и старше»?

Кристина взглянула на Виктора смеющимися глазами, всем своим видом как бы говоря: «Ну, как я тебя срезала за твою двусмысленную реплику о физиологии и размножении?!» Виктор немного подумал и спокойно, не спеша, как бы подводя итог под научным докладом, ответил:

– Да, необитаемый остров и альков – это как раз те места, где можно, и даже нужно, обсуждать темы, которые, как я понял, больше всего вас интересуют.

Кристина резко встала с лавки и с алыми, сразу ставшими почти прозрачными ушами направилась к выходу с веранды, бросив на ходу Наталье:

– Пошли отсюда!

\* \* \*

– Трепло! Задавака! Всезнайка! Индюк надутый!.. – все еще продолжала она, уже подходя к дому.

По ее гневному тону Наталья поняла, что приговор Виктору вынесен окончательный и «обжалованию не подлежит».

Сейчас мы с Виктором стояли, взваливая на себя всевозможные сумки и рюкзаки, как раз на том самом месте, где они строили свою яхту и где на бережку горели их ежевечерние костры.

Я не стал напоминать ему об их сгоревшей яхте. О том, теперь уже далеко, времени... Во-первых, потому что я был бы инородным телом в тех воспоминаниях, а инородное тело – это всегда что-то лишнее, а во-вторых, не осталось уже и пепла на этом берегу ни от их костров, ни от остова их недостроенной яхты...

«Невозможно дважды войти в одну и ту же реку», равно как и дважды ступить на один и тот же берег. Ибо: «Никогда ничего не вернуть, как на солнце не вытравить пятна, и, в обратный отправившись путь, все равно не вернуться обратно. Эта истина очень проста, и она, точно смерть, непреложна. Можно в те же вернуться места, но вернуться назад невозможно...»

Меня всегда тревожат и успокаивают в то же время эти стихи Николая Новикова. Тревожат потому, что жизнь все-таки проходит. И движется она, хотим мы того или нет, лишь в одном направлении: от истока к закату. И нет возможности вернуть даже что-то очень хорошее и близкое тебе.

Успокаивают же эти стихи потому, что ничего не начинается все-таки сначала; все начинается – с последней точки. Но это-то и есть для каждого отдельного человека как бы сначала. Как бы заново начинать проживать не только свою жизнь, но и каждый свой день. Несмотря на то что мы несем в себе весь свой прожитый мир; и мир своих предков (эту скрытую, невидимую под водой часть айсберга), ты в то же время и независим от него, и свободен. И волен каждодневно в выборе между Добром и Злом...

Одним словом, ты человек свободный! А «свободный человек ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни». «Это из Сенеки, кажется... Но еще лучше него эту мысль выразил Горький. “Фольклорный человек бессмертия не искал – он его имел”. Потому что не отравлял свое сознание воспоминаниями ни о прошлом, ни о будущем, воспринимая свой каждый день как дар неведомых ему небесных сил. Действительно, истинные герои – это простые люди, которые живут себе спокойно, как будто собираясь прожить вечность...

Никак, это от лунного света меня на философствования потянуло...»

– Кристина! Вставай!

Виктор стоял у лодки и тормозил за плечо Кристину, угнездившуюся на заднем сиденье и укрытую его меховой курткой.

– Уйди, противный, – раздался из-под куртки сонливо-кокетливый ее голос...

– Грубый мужлан! – голова ее уже была наруже. – Нет чтобы девушку на руках донести до дома... И не будить...

– Ну ладно, я будить тебя не стану, – ответил Виктор. – Спи. Даже тент поплотнее закрою, чтоб не намочла в случае дождя.

Он стал возиться с тентом.

Кристина быстро выскочила из лодки и опрокинула его на песок со всеми сумками и рюкзаками, навешанными на нем.

– Проси пощады, злодей! – закричала она.

Свет несколько раз мигнул и погас.

Темнота и тишина пришли почти одновременно.

Остались только жидкий лунный свет, мерцающий Байкал и мы трое на едва различимой тропинке, поднимающейся «к нашему», пустующему в это время года большому бревенчатому дому, состоящему из четырех двухкомнатных квартир (от одной у нас был ключ), на углу которого на продолговатой жестянке, выкрашенной в белый цвет, черной краской было красиво написано: «Набережная Жака Ива Кусто»...

*Суббота*

Утро выдалось на редкость ядреное – как яблоко, которое раскусывается с хрустом, – солнечное, прозрачное, с легким морозцем. Я бежал по плотной, с потрескивающим кое-где ледком лесной дороге в сторону пади «Жилище». Слева от меня – монотонно, с ленцою – плескался Байкал. Справа – круто вверх – уходил склон, поросший стройным сосняком с его чистым подлеском и янтарными, ровными, высокими стволами деревьев, подсвеченными утренним веселым солнцем, с бодрящим запахом смолы и хвои.

Ноги упруго толкали землю. Бежать было легко и радостно. Порой казалось, что, стоит чуть-чуть посильней оттолкнуться, и полетишь спокойно с этого крутого берега над синевой Байкала в синеве небесной.

Все представлялось легковыполнимым, а любая цель – легкодостижимой. Сердце билось гулко, но ритмично. Мышечная радость после глубокого спокойного сна, как у меня обычно бывает в деревянном доме, выражалась одной фразой: «Я все могу!». «Я все! могу». «Я! все могу».

Дорога, суживаясь, превращаясь почти в тропу, повернула вправо и, перпендикулярно Байкалу, пошла вверх по пади, вдоль ручейка, впадавшего в него.

На полянке, на которой летними вечерами разношерстной компанией мы не раз устраивали «большой футбол», в том числе даже и международные матчи со студентами Германии, Чехословакии, Венгрии, Польши, я остановился.

Поляна вся была покрыта инеем.

Солнце освещало только верхнюю половину одного из склонов, окружавших ее с трех сторон. Иней матово мерцал на еще непожухшей траве...

На склоне, освещенном солнцем, влажно блестели глянцевые бурые, красные, зеленые крепкие листья бадана.

Я прошел через полянку до изгиба ручейка, как бы отчеркнувшего с одной стороны ее границу.

Небольшой, с темной водой омут, образованный его изгибом, был почти сплошь покрыт слоем желтых березовых листьев.

Листья были неподвижны. Их сковывал тонкий прозрачный ледок.

Я оглянулся. Цепочка моих следов выделялась сочным зеленым цветом среди живого серебра поляны.

Мне почему-то расхотелось делать зарядку. Присесть, вертеть руками, «отжиматься от пола». Вообще делать резкие движения.

Вот и осень... Прошло еще одно лето...

«Так и жизнь пройдет незаметно, как прошли Азорские острова...» – припомнилось мне из Маяковского.

Я вспомнил, как мы – несколько парней – летом после обычного, почти ежевечернего, матча, собиравшего, бывало, и болельщиков (в основном студентов), шли по этой же дорожке к Байкалу. И там окунались в укромном месте нагишом в холодную, до обмирания душевного, воду. Или в легко подхватывающую тело байкальскую волну, сбивающую, и окатывающую сразу с головы до ног.

Вспомнил я и как мы с моим другом Юрасиком в прошлом году возвращались в начале сентября, после «закрытия сезона», в город.

Нас согласился довести до Листвянки на своем боте Серега Мальцев. Чистые, выскобленные доски на палубе бота от солнца так нагрелись, что по ним было тепло ступать босыми ногами...

И день стоял такой чудесный!..

Первые яркие осенние краски только слегка тронули лес на горах...

Серега стоял за штурвалом и пританцовывал слегка под музыку, распространяемую над спокойными водами Байкала транзистором: «Снова птицы в стаи собираются. Ждет их за моря дорога дальняя... Все что это лето обещало мне. Обещало мне, да не исполнило... За окном сентябрь провода качает. За окном с утра мелкий дождь стеной. Этим летом я встретила с печалью, а любовь прошла стороной...»

В нашем сердце не было печали, разве что легкая грусть.

И сентябрь у нас в Сибири был не дождливый, а солнечный и свежий.

Мы проходили падь «Жилище». Потом – «Черную».

Я принес Сереге в рубку кружку свежесваренного чая, потому что он отказался от шампанского, бутылку которого, тащившуюся от самых Котов в авоське за бортом, несколько минут назад мы с Юрасиком, подтянув веревку, извлекли из Байкала.

На палубе бутылка сразу отпотела, покрывшись крупными прозрачными каплями.

Ветерок освежал лица и тела в расстегнутых рубашках. А ноги приятно грели доски палубы.

– За закрытие сезона! – сказал Юра, который был похож своей смуглостью и кудрявой чернотой шевелюры скорее на латиноамериканца, чем на сибиряка.

Мы подняли свои эмалированные, синие снаружи и желтоватые внутри, кружки, в которых все еще слегка пенилось и пузырилось шампанское, и чокнулись ими. Шампанское было прохладное и очень приятное на вкус.

– Еще Польша не сгинела, покида мы живы! – предложил я тост, когда мы налили по второй...

Потом я лежал на теплых досках палубы (ощущая их прогретость через рубашку и штаны), подложив под голову руки, и замороженно смотрел в большое небо, по которому медленно-медленно двигались в противоположную нам сторону белые горы облаков...

Я проснулся от весьма ощутимого толчка, когда бот уже ткнулся бортом в причал.

В Ливинке все было уже совсем другое.

Казалось, что и облака здесь не такие ослепительно-белые, и все величие природы будто пригрезилось во сне и со сном моим теперь исчезло.

Мы оттолкнули от причала Серегин бот. И он, оставив нас на пристани, стал разворачивать его в обратную дорогу, вычерчивая на воде винтом широкую дугу.

– До следующего лета! – крикнул он нам.

Мы помахали ему руками и пошли к автобусной остановке...

...На дорожке, идущей вдоль Байкала, я снова не удержался и побежал. Теперь уже обратно, к дому.

Возле калитки изгороди, окружающей от нашествия коров довольно большое пространство возле него, я наступил на гляцевый лист бадана. Он хрустнул, как капустный лист. И мне вдруг стало так хорошо, что я ни с того ни с сего рассмеялся.

Засолка капусты в хорошо выскобленный бочонок, хруст разгрызаемой кочерыжки, запах свежего капустного листа и картофельной ботвы в осеннем поле, смешанный с прохладным ветерком, несущем в себе и запах болотца и брызг от волны и какой-то еще свой особый запах, – все это напомнил мне хрустнувший бадановый лист.

В доме приятно пахло кофе.

Кастрюлька с ним парила на еще не остывшей с ночи печи.

У меня запах кофе почти всегда вызывает воспоминания о вышгороде Таллина с его маленькими, сумеречными, уютными, нешумными кафе.

«Как я стал сентиментален. Мне опять приснился Таллин». Эту фразу я произнес мысленно. А вслух всем сказал: «Доброе утро!»

Наталья в первой комнате за длинным столом кормила Димку манной кашей, который в паузах между ложками, подносимыми ему ко рту, весело смеялся чему-то и был похож на неведомую лохматую зверушку со своими блестящими от восторга глазами.

Кристина в пристройке к дому, на газовой плите, жарила яичницу с салом. Было слышно в чуть-чуть приоткрытую дверь, как сало потрескивает и шипит в сковороде. И это шипение и потрескивание тоже были приятны.

Виктор во второй, светлой – потому что она выходила на Байкал, а не на склон горы комнате (там стояло 5 кроватей) находился все в том же положении, в котором я оставил его, уходя на зарядку.

Он лежал в спальном мешке на кровати. Правда, теперь не спал, а листал толстую расстрепанную «Поваренную книгу», еще дореволюционную, переизданную в 20-х годах нашего века. «Книга о вкусной и здоровой пище» лежала у него на животе. У моих родителей в доме тоже была такая, с портретом Сталина на первой странице.

Теперь, в наше талонное – на продукты и другие товары – время за одни только цветные фотографии, изображающие застольное изобилие, эту книгу надо было бы запретить, чтобы люди, разглядывающие ее, не захлебнулись собственной слюной. Я уж не говорю о книге царских времен, из которой Витя сейчас читал накрывающей на стол Кристине.

– Если вы пересолили бульон – не волнуйтесь. Возьмите ложку паюсной икры и опустите ее на некоторое время в бульон. Икра возьмет на себя излишек соли...

Он кивнул мне, не прерывая чтения, когда я вошел в комнату за полотенцем, висящим на спинке моей кровати.

– Кристина! Здесь про яичницу нет! – крикнул он. – Здесь на «Я» только: «Языки в желе», «Язык под белым соусом», «Язык соленый с изюмом». Сейчас в других раритетах посмотрю.

Действительно, на полочке над Витиной кроватью имелось несколько кухмистерских книг, неизвестно когда и как попавших в этот дом. Здесь были кроме перечисленных и «Опытный повар, эконом, погребщик и кондитер», 1829 года и «Кухмистер XIX века», 1854 года...

Вот уже несколько десятков лет подобные книги не выпускались у нас в стране... По-видимому, за ненадобностью...

– Нашел! Слушай, – снова крикнул Кристине Виктор, которая, по-моему, абсолютно не обращая внимания на его чтение, продолжала готовить завтрак.

– «Яйца со сметаной»: «Обыкновенные диетические яйца, снесенные не более 5 дней назад, положи на блюдо, на котором подавать. Полстакана сметаны взвари, чтобы подкипела половина...»

Я уже выходил на улицу, чтобы умыться.

– Поскорей! – сказала мне Кристина. – Завтрак почти готов. Вот только зелени немного накрошу и все.

Я разделся по пояс, ощущая приятную прохладу ноябрьского утра.

В умывальнике сверху плавал тонкий круг льда.

Мне нравилось, что в массивном умывальнике плавает лед, подтаявший с боков от уже слегка нагретого утренним веселым солнцем умывальника. Нравилось плескаться на себя пригоршнями холодной воду и фыркать от удовольствия. И растираться докрасна пушистым полотенцем тоже было здорово! Да еще я вспомнил, что сегодня суббота – банный день в деревне!..

Все тело после растирания как-то постанывало, будто ты опустил в минеральную воду и пузырьки воздуха приятно щекочут кожу...

Снова захотелось рассмеяться!..

«После завтрака дров порублю!» – радостно подумал я.

– Игорь, иди есть! – крикнула мне из-за двери Кристина.

Витя умытый (в доме за печкой тоже был умывальник), с влажными причесанными волосами, в окружении Натальи и Кристины сидел за столом (Димыч в другой комнате, в квадрате солнечного света от окна, возился на полу с игрушками) и, пока Кристина разливала кофе и раскладывала по тарелкам яичницу, монотонно читал: «По изобилию, богатству рыбных товаров наша страна не имеет себе равных.

В странах капитализма теперь, как и когда-то в старой России, потребителю ежедневно приходится сталкиваться с тем, что его обманывают в цене, в качестве, в весе или мере товара. Для Советского Союза характерны отсутствие фальсификации товаров, характерны добросовестность, высокое качество продукции социалистических предприятий, что, несомненно, является одним из преимуществ социалистического строя по сравнению с прогнившим строем капитализма...»

– Хватит мормонить, – вмешалась Кристина. – Ешь, а то все остынет.

– А что есть-то? – спросил Виктор. – Вот это? – и он указал вилкой на свою тарелку. – А где же уха стерляжья? Осетр, запеченный в меду и начиненный грецкими орехами? Где икра, наконец?..

– Ешь, что дают, а то и этого не будет, – ответила Кристина.

Действительно, аппетит, как и сон, в этом доме был отменный. Во всяком случае, у меня.

Я намазал кусок черного хлеба сливочным маслом и баклажанной икрой, положил себе в тарелку к яичнице еще салата из перца, петрушки, помидоров и огурцов и с наслаждением, мелкими глотками запивая еду горячим кофе со сгущенкой, принялся есть.

Завтрак с шутками, прибаутками, взаимными пикировками: в основном по поводу того, что надо срочно женить Витю и о том, как «достойно содержать жену на зарплату м.н.с.<sup>1</sup>», растянулся минут на сорок.

---

<sup>1</sup> М.н.с. – младший научный сотрудник.

Кристина в третий раз заваривала кофе.

– Правда, Витька, когда ты наконец женишься? – спросила она, помешивая кофе в кастрюльке.

– Понимаешь, Кристина, для того чтобы жениться, надо как минимум влюбиться, – глубокомысленно ответил Витя.

– А ты влюбись...

– Вот над этим вопросом я как раз сейчас и работаю. Изучаю в чем физиологическая тайна любви с первого взгляда... Я считаю, что любовь с первого взгляда сопровождается спонтанной, бессознательной записью информации в «кратковременную память» – нейтронную замкнутую сеть, – серьезно начал излагать свою гипотезу Виктор. – Таким образом, в «кратковременную память» как бы «вписывается» информация в виде фонем – черты лица, фигура, походка и т. д. и т. п., – характеризующих объект интереса. После нескольких таких циклов «записи»-«стирания» информации и наступает загадочное сердцебиение, волнение, символизирующее начальную стадию любви... Как видишь, никакой лирики. И никакой любви с первого взгляда. В лучшем случае – со сто первого...

– Что-то уж слишком мудрено. И бездушно. И скучно как! – сказала Кристина.

– Ты это всерьез или дурачишься? – спросила Виктора Наталья...

После завтрака женщины стали собираться в баню. (До обеда в деревенской бане парятся женщины, после обеда – мужчины.) Виктор улегся поверх своего спальника на кровать и продолжал чтение вслух.

– «Икра кетовая, паюсная, зернистая долго не высохнет, если вы в банку с икрой сверху нальете тонкий слой растительного масла...» Кристина, ты налила сверху масла!

– Налила, налила – не волнуйся, – ответила из другой комнаты Кристина.

В дверной проем без двери, соединяющий комнаты, было видно, как она укладывает что-то в яркий полиэтиленовый пакет.

– Ты лучше подумай, Витя, что ты нам с Наташкой на обед приготовишь!

– Сейчас, чего-нибудь подыщем, – ответил он, зашуршав страницами «сталинской» кулинарии. – Вот. Нашел. «Меню обеда из трех блюд и закуски: Поросенок заливной. Корзиночки из яиц с салатом. Бульон с пельменями. Солянка рыбная. Гусь жареный с яблоками. Антрекот с картофелем. Налистники с творогом. Желе из апельсинов. Компот из апельсинов с ликером». Желаете чего-нибудь еще или достаточно?

– Витюша, ну это уж слишком! – ответила Кристина. – Такой обед – для женщин времен Ренессанса, а мы девушки стройные, непритворливые к тому же. Из всего этого меню можешь оставить гуся с яблоками и ликер. Неплохо бы еще обещанного омуля... Но ни омулька, ни самого Алика мы, как видно, нынче не дождемся.

– «Омуль, – продолжил чтение Виктор, перелистнув несколько страниц, – один из сибирских представителей рыбного семейства лососевых; у этой рыбы вкусное и жирное мясо. В Байкале омуль особенно хорош и достигает более двух килограммов веса. На рыбных прилавках чаще всего можно найти омуля холодного копчения...»

– Ну ладно, мы пошли, – прервала его чтение Кристина. – Обед вы, лодыри, конечно, не приготовите... Хоть самовар скипятите да чай заварите к нашему приходу. Я думаю, что к часу мы вернемся.

Вышла из комнаты с какой-то холщевой сумкой и Наталья.

– Приглядывай за Димуськой, – сказала она мне. – Я быстренько.

Они ушли. Я стал одевать сынишку, чтобы выйти с ним на улицу, а Витя включил репродуктор, стоящий на полочке рядом с кулинарными и другими книгами.

Бодрый дикторский голос рубил:

– В результате индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, развития науки и технического прогресса экономика страны за годы советской власти коренным образом преобразована!..

«Что верно, то верно, – подумал я. – Кореннее некуда. Даже огромную, казалось бы, Сибирь сумели превратить за каких-нибудь 25–30 послевоенных лет в настоящую колонию, в сырьевой придаток, в помойку». Впрочем, когда начинался подобный дикторский текст, то воспринимались обычно лишь первые несколько фраз. А дальше речь шла уже каким-то ватным фоном. Как будто выключатель срабатывал в мозгу. Слова звучали, но их смысл не доходил до сознания.

– В этом году, – продолжал диктор «праздничный рапорт, посвященный 65-й годовщине Великого Октября», – в СССР выпускалось промышленной продукции больше, чем ее производилось во всем мире в 1950 году! СССР занимает первое место в мире по добыче нефти (которую мы гоним за бесценку за границу), угля, железной руды (добывая которую открытым способом в основном на Курской магнитной аномалии, мы уничтожаем лучшие российские черноземы), выплавке чугуна и стали (из которой потом делаем самые мощные роторные экскаваторы, для того чтобы добывать еще быстрее и больше железной руды, чтобы, выплавив еще большее количество стали, сделать из нее еще более мощные роторные экскаваторы... для добычи руды), выжигу кокса, выработке минеральных удобрений (которыми мы сумели в короткое время отравить и поля и продукты, выращенные на этих полях, и реки с рыбой, в которые дождями смываются удобрения с этих полей), производству тракторов (которых производим больше, чем нужно), тепловозов, электровозов, цемента, кожаной обуви (которая продавала все полки на складах и в магазинах и которую никто не покупает, доставая с переплатой импортную удобную обувь)... Реальные доходы рабочих, в расчете на одного работающего, увеличились по сравнению с 1913 годом в 10 раз! (Но покупательная способность нашего деревенного рубля по сравнению с рублем царской чеканки, пожалуй, уменьшилась раз в сто!)...

Я, наконец, одел сынишку. И мы вышли с ним на улицу.

Он сразу же взял какую-то щепочку и начал ею рыть «норку для зверька», а я стал с наслаждением и азартом колоть сосновые чурки.

Они легко раскалывались, иногда со звоном, когда колун ударял плашмя по боковине чурки, иногда с хрустом...

Горка поленьев быстро росла.

Они отливали красноватым цветом и пахли свежо и душисто смолой.

Часа через два работы чурки кончились.

Я сложил дрова в поленницу, под навес. Подмел настил из досок перед домом.

Из остатков коры и щепок развел на пригорке костерок.

Сынишка, покрасневшийся и веселый, лопотал что-то свое. И, подбрасывая в костерок щепки и кору, замороженно глядел на огонь.

Из сухих поленьев, лежащих за печкой, я нащипал лучинок и разжег самовар.

– Дима, на тебе коробочку – собери в нее сосновых шишек. Вот таких. – Я показал ему на шишку, лежащую на земле, и подал картонную коробку из-под обуви. – Собирай там, – я указал ему на сосну с мощной кроной, растущую на пологом склоне горы, чуть поодаль от дома.

Он стал деловито и сосредоточенно собирать в коробочку шишки. И приносить их мне. Штук по десять-пятнадцать.

Я снимал верхонкой с самовара загнутую коленом трубу и кидал шишки в огонь, а вновь приносимые складывал в кучку, у самовара.

Когда я снова ставил на место трубу – огонь начинал гудеть, а из трубы шел белый, приятно пахнущий дым, который уходил от дома и поднимался вдоль склона горы...

Было хорошо сидеть на завалинке, смотреть на дым, слушать «говорок» самовара, стоящего на прочных, почерневших от дождя и времени листовенных досках настила перед домом, и чувствовать, как приятно погуживает тело от проделанной физической работы.

Подошел Виктор с полными ведрами воды, которую он заливал в бак, стоящий на кухне, и тоже сел на завалинку.

В струе уже почти растворившегося синеватого дыма порхал невесть откуда взявшийся желтый листок березы...

Он то взмывал вверх со струей дыма, то, кружась, опускался ниже, то снова поднимался... «Все как в жизни», – подумал я.

Мы долго молча смотрели на этот листок... Потом Виктор сказал:

– Алик вряд ли приедет сегодня. Погода портится. Байкал уже весь черный...

Женщины пришли из бани распарившиеся: бело-розовые, с завязанными чалмой на голове полотенцами, с легкой лендой, но в то же время разговорчивые, веселые, смешливые.

Чай заварили еще и со смородиновым листом (заварник, стоящий на резной конфорке самовара, далеко распространял смородиновый свежий дух) и пили его с «ревнивым вареньем» (варенье из ревеня), название которого вызывало много шуток и смеха.

После чая (а для Димыча – обеда) мы с Витей, слегка перекусив, сложили в сумки все необходимое для бани...

Димыч уснул.

Женщины уселись возле печки расчесывать и сушить волосы. Влажно поблескивающие: черным – у Натальи и золотом – у Кристины. Они у нее были длинные. И сейчас казались очень тяжелыми, оттягивающими темно-золотой волной голову назад.

Нам с Виктором в баню было идти еще рано.

До «мужского срока» оставалось где-то еще около часа.

Я прилег на кровать – пристроившись рядом с сынишкой, который спал, сладко посапывая, – отдохнуть немного и почитать.

– Кристина, тебе стопарик-то налить после бани? – услышал я из другой комнаты Витин голос, прервавший женский щебет.

– Не надо, Витюша, – весело ответила Кристина. – Нам, благородным дамам, и вино необходимо благородное. «Приготовь же, Дон заветный, для наездниц удалых (немного перефразировала она строку Пушкина) сок кипучий, искрометный виноградников твоих!»

– Это ты на шампанское, что ли, намекаешь? – спросил Витя ненатуральным, бесцветным каким-то голосом, которым он всегда разговаривал с ней.

– Ну, конечно! – беззаботно и весело, как всегда, ответила ему Кристина. – А у тебя ведь спирт, поди?..

Я тогда читал «Записки из мертвого дома» Достоевского. Помню как меня измучила эта книга своей монотонностью и какой-то беспробудностью жизни каторжан. И которую я читал скорее из упрямства, чем из интереса, желая одного – быстрее ее дочитать...

И вот каким-то странным образом переплелись у меня сейчас в сознании и Витина пикировка с Кристиной, вызывающая улыбку, и содержание «Записок», вызывающее жуткую тоску.

Я услышал, как он в другой комнате зашелестел страницами и начал назидательно, с кавказским акцентом читать:

– Таварищ Микоян гаварил: при царе народ нищенствовал, и тогда пили не от веселья, а от горя, от нищеты. Пили именно, чтобы напиться и забыть про свою проклятую жизнь. Достанет иногда человек на бутылку водки («Интересно, сколько же тогда стоила бутылка водки? Копейку? Две? Три? Сейчас, во всяком случае, наше родное государство спаивает своих граждан опилочной водкой, в простонародье именуемой табуретовкой, цена на которую в 50 раз выше себестоимости») и пьет, денег при этом на еду не хватало...

Бывают же такие совпадения! Я как раз тоже читал про еду, а точнее, про рождественский обед обитателей царского острога: «Священник обошел все казармы и окропил их святою водою. На кухне он похвалил наш острожный хлеб, славившийся своим вкусом в городе, и арестанты тотчас же пожелали ему послать два свежих и только что выпеченных хлеба... Он обошел все казармы в сопровождении плац-майора, всех поздравил с праздником, зашел в кухню и попробовал острожных щей. Щи вышли славные: отпущено было для такого дня чуть не по фунту говядины на каждого арестанта. Сверх того была просынная каша, и масла отпустили вволю».

«Значит, за два дня царский каторжник, или, лучше сказать, каторжник царский, “выбирал” нашу нынешнюю – месячную! – норму “мясопродуктов”, предназначенную отнюдь не арестантам, а людям, живущим в государстве “развитого социализма”. Я уж не говорю о сталинских концлагерях, где люди просто умирали с голоду (я это знаю от своих дядьев, на себе испытавших все “прелести” лагерной жизни), получая кусок хлеба в день».

«Нет, здесь что-то не то, – подумал я. – Да что не то-то! – тут же сам себе и возразил. – Достаточно прочесть хотя бы одну главу из “Лета Господнего” Шмелева; например, “Постный рынок”, чтобы убедиться, что там, в ранешной жизни, и было именно то».

«Но все-таки уж слишком идеальная каторга получается в этих “Записках”». И я уже с интересом стал перелистывать прочитанные страницы, ища в них опровержения своих же мыслей.

Нашел описание обеда в острожном госпитале:

«Порции были разные, распределенные по болезням лежавших. Иные получали только один суп с какой-то крупой; другие – только одну кашу, третьи – одну только манную кашу, на которую было очень много охотников. Арестанты от долгого лежания изнеживались и любили лакомиться. Выздоровливающим и почти здоровым давали кусок вареной говядины, “быка”, как у нас говорили. Всех лучше была порция цинготная – говядина с луком, с хреном и с проч., а иногда и с крышкой водки. Хлеб был, тоже смотря по болезням, черный или полубелый, порядочно выпеченный».

В общем, как ни прикинь, получалось, согласно «аргументам и фактам», приведенным Достоевским, что арестанты получали в любом случае мясных продуктов больше нас...

Я стал, ради упрямства уже, искать дальше что-нибудь опровергающее мои аргументно-фактические мысли...

Виктор продолжал читать:

– ...Кушать было нечего, и человек напивался пьяным. Теперь веселее стало жить. От хорошей жизни пьяным не напешься. Весело стало жить, значит, и выпить можно...» Поняла, Кристина? «...Но выпить так, чтобы рассудка не терять и не во вред здоровью».

– Витюша, дарагой, дак мы все это и без «товарища Микояна» знаем... – сказала Кристина, соединив сибирский диалект с кавказским акцентом, подражая Витюшину чтению.

В одном месте, в главе «Претензия», я все-таки нашел жалобы арестантов:

«Уже несколько дней в последнее время громко жаловались, негодовали в казармах и особенно сходясь в кухне за обедом и ужином...

– Работа тяжелая, а нас брюшиной кормят...

– А не брюшиной, так с усердием<sup>2</sup>.

– Оно, конечно, теперь мясная пора...

– ...Брюшина да усердие, только одно и наладили. Это какая еда! Есть тут правда аль нет?»

Я в каком-то раздраженном недоумении положил книгу на пол, на коврик, рядом с кроватью. «Ну, вы заелись, братцы!» – подумал я и вспомнил, как недавно моя теща, отстояв мно-

<sup>2</sup> «То есть с осердием...» (Примеч. Ф. М. Достоевского.)

гочасовую очередь в давке и духоте, отоварила «талон на мясопродукты» – причем искренне радовалась, – добыв «суповых наборов», а точнее, два килограмма костей на месяц.

Это воспоминание вернуло меня из века XIX в век XX, и я тут же услышал Витино:

– Товарищ Сталин занят величайшими вопросами построения социализма в нашей стране. Он держит в сфере своего внимания все народное хозяйство, но при этом не забывает мелочей, так как всякая мелочь имеет значение. Товарищ Сталин сказал, что стахановцы сейчас зарабатывают много денег, много зарабатывают инженеры и другие трудящиеся...

«Интересно, – подумал я, – много – это сколько? И считается ли много, например, оклад мэнэеса в 140 рублей при прожиточном минимуме для Сибири в 150 рублей в месяц. Да и соотношение цен надо учитывать. Раньше бутылка шампанского (при Никите Сергеевиче<sup>3</sup>) стоила три двадцать семь, потом (при Леониде Ильиче<sup>4</sup>) шесть пятьдесят, а сейчас (при Михаиле Сергеевиче<sup>5</sup>) – пятнадцать».

– «...А если захотят купить шампанского, смогут ли они его достать?..»

«Сейчас достать несложно – сложно купить», – мелькнула у меня комментирующая мысль.

– «...Шампанское – признак материального благополучия, признак зажиточности».

– Да хватит тебе, Витька! – не выдержала Кристина. – Идите-ка вы лучше... в баню! Дай девушкам вволю посплетничать.

– В баню, в которую ты нас так жестоко посылаешь, идти еще рано, – невозмутимо ответил Виктор...

Я внезапно выпал из реальности. Уснул так же сладко, как Димка. И даже слюнка подушку смочила, там, где я уткнулся в нее уголком рта...

\* \* \*

О баня! Языческий храм!

Гонитель хандры. Исцелитель недугов.

Дарующая свежесть, легкость, радость, чистоту тела и новорожденность духа.

Мужской клуб «банных трепачей»! Где можно поговорить о том о сем, обо всем, ни о чем...

Увы, еще не написана банная ода, достойная ее!

Общественная баня была расположена на краю деревеньки у перегороженного бревенчатой плотиной ручейка, образующего выше плотины небольшую, но достаточно глубокую заводь с холодной темной водой.

Баня была небольшая. Бревенчатая. И бревна ее были черны от времени.

Пока мы дошли до нее, прохладно-чистый ветерок раскраснил наши руки и лица.

В заводи у плотины с медленно, как бы нехотя, перекатывающейся через темное влажно поблескивающее верхнее бревно широкой стеклянной струей воды в углу затончика грустно плавало несколько желтых березовых листьев...

На высоком крыльце, у входа в баню, на табуретке сидела «немушка» Ага – глухонемая полустарушка. Она была и истопником, и кассиром.

Увидев нас, она радостно загукала и закивала головой.

Мы тоже поздоровались с ней и спросили, как дела. (По-видимому, по движению губ она почти безошибочно понимала, о чем говорят.)

---

<sup>3</sup> Хрущев Н. С. – глава государства с 1953 по 1964 г.

<sup>4</sup> Брежнев Л. И. – глава государства с 1964 по 1982 г.

<sup>5</sup> Горбачев М. С. – глава государства с 1985 г., первый и последний Президент СССР (Союза Советских Социалистических Республик).

Она оттопырила большой палец левой руки и показала нам. Ладонь правой руки в это время она протянула для мелочи (вход в баню стоил 15 копеек).

Мы вошли в предбанник с большой печкой, у одного бока которой лежали березовые поленья, которые время от времени немужка подкидывала в горящую печь.

У единственного окошка предбанника, справа от печи, на табуретке стоял бак с водой и с привязанной веревкой к ручке бака алюминиевой, помятой сбоку кружкой.

Левая стена печки отгораживала вторую часть предбанника, где буквой «П» вдоль стен были расположены лавки, прикрепленные прямо к выскобленным бревнам, а над ними, тоже прямо к стене, были прибиты вешалки для одежды.

Брезентовые шторы, закрепленные кольцами на толстой проволоке, продернутой под потолком, и занимавшие место от стены бревенчатой до печной, разделяли пространство предбанника почти на две равные части.

Во второй его части тоже было окно, но только закрытое белыми простынными шторками, и почти в углу – дверь в баню, разрывающая в одном месте лавочную букву «П». На широком, голубом подоконнике окна, расположенном почти у самой брезентовой шторы, стояли банки, бутылки: с квасом, морсом, вареньем, разведенным водой.

Народа во второй части предбанника было еще немного.

Сидел в белых полотняных кальсонах весь высохший «столетний» дед с провалившейся в ключичные впадины кожей, два местных парня, приехавшие на праздники из листовкинского интерната (школы в Больших Котах не было уже давно), где они заканчивали школу, и лесник.

Поздоровались. По приветливым улыбкам было видно, что нам рады.

– Надолго? – спросил нас лесник.

– Да, нет. На праздники только...

– Наша деревня знатная! – вдруг звонко заговорил дед, державший у своего уха руку лопаточкой. – И стеклышко здесь делали. И золотишко мыли... Варнаки-то здесь золотишка знатно пограбили... А воздуха-то какие!.. А сейчас и покосы у всех есть, – продолжал он без плавного перехода, – а коров доржат мало. Трудно вам будет, – обратился он уже непосредственно к нам, – молочка добыть. Моя-то старуха не доржит уже коровку. Пальцы у ей болят. Как грабли сделались. Доить не может. Разве что у Максимовских поспрошайте...

– Да у тебя и старухи-то давно нету, дед Аким, – весело сказал один из парней...

Дед, видимо, не расслышал его, продолжая по-прежнему улыбаться, глядя на нас добрыми глазами.

Парень еще что-то хотел сказать ему, но на него цыкнул лесник, и он примолк, продолжая раздеваться.

В предбаннике пахло крапивой.

Это дед Аким запаривал свой веничек в тазу, стоящем у его ног.

– У вас веника-то, поди, нет? – спросил лесник, который, видно было, уже «сорвал» первый пар.

– Нет.

– Ну, мои там, в тазу, возьмите. Они хорошие еще. Пихтовый да березовый. Я то больше париться не буду. Зять с дочкой приехали. За столом ждут... Кваску захотите – вон бидон на полу стоит – пейте. Бидон только потом занесите. Да поосторожней парьтесь. Первый парок маленько с угарцем был.

Мы взяли с лавки, в углу, где они лежали, по цинковому тазу и вошли в баню, освещенную небольшим окошком с такими же белыми, простынными, как и в предбаннике, занавесками.

В бане тоже к двум стенам были приделаны лавки из толстых цельных досок. Часть печки углом выходила и сюда. За этим белым печным углом была дверь в парную, с маленьким ничем не завешанным окошечком, глядящим на Байкал. Получалось, что печь является центром, соединяющим все четыре помещения: оба предбанника, «моечный зал» и парную. Вдоль печ-

ной стены в «моечном зале» тянулись темные трубы с кранами горячей и холодной воды, труба с холодной водой была влажной.

Мы с Витей вошли в парную и забрались на полоч.

Один из парней, стоявших внизу, «подкинул» на раскаленные камни заканчивавшейся здесь печи с четверть кружки горячей воды.

С легким хлопком из печной дверцы вылетел пар.

– Еще? – спросил он.

– Можно, – ответил Виктор.

Я в это время пригнул голову к коленям, так как уши мои от жара стали почему-то, как у морского котика, сворачиваться трубочкой.

Он еще раз плеснул на камни и тоже забрался наверх.

На сей раз зашипело, но хлопка уже не было...

Первый пар у меня «для сугреву». Для разомления.

Когда все тело и душа как бы размякают. Становятся добрее, шире, больше, глубже, необъятней...

Я просто сижу на горячих досках полка до тех пор, пока жар становится нестерпимым.

Особенно приятно париться, когда за окном виден осенний, стылый, слякотный день.

В первые минуты на полке от большого жара тебя как бы охватывает озноб. Кожа становится «гусиной» – все тело покрывается пупырышками. Потом она краснеет постепенно. Появляются редкие большие капли пота. Потом все тело начинает лосниться, и пот уже течет сплошным потоком.

Кажется, жар проник до самых костей и нет больше никакого терпения сидеть или лежать на обжигающих, сухих, растрескавшихся досках. Волосы становятся совсем сухими и как бы похрустывают от жара, встав дыбом.

Тут самое время, правда, еще немного – на пределе возможного, – побыв в парной, выскочить в предбанник и ухнуть на приятно-прохладную широкую некрашеную лавку.

Первый пар у меня самый долгий. Минут десять-пятнадцать...

Говорят, что пар-жар расплавляет даже холестерин, который выходит с потом.

Не знаю. Может быть, и так. Зато знаю точно – на собственном опыте убедился, что злость, пассивность, хандра в парной расплавляются махом.

С каким бы настроением я ни зашел в баню (в хорошую, конечно, с хорошим паром, чистую – не вызывающую раздражения), выйду я оттуда добрым и любящим всех..., кроме врагов своих, к которым я тоже в этот момент не испытываю особой злости. Скорее безразличие. Но! До «возлюбите врагов своих» все-таки недотягиваю.

По-видимому, для этого нужен более сильный и не физический, а духовный импульс, которого я, наверное, лишен, потому что к врагам своим – к прохиндеям различного ранга и звания, к клопам, живущим кровью общества, – я все-таки испытываю ненависть. Ну в лучшем случае равнодушие. И то только после бани или хорошей тренировки, завершившейся контрастным душем...

На сей раз пар был что надо: ядреный и легкий! И угара никакого уже не было.

И выскочил я в предбанник минут через десять...

Там уже прибавилось три человека.

Двое были работники биостанции. Один из них – Эдгар Иосифович, доктор наук – имел странную фамилию – Стоп. Второй был кандидат наук, микробиолог – Слава Миронов, похожий и на пирата, и на древнего грека одновременно, с черной шотландской бородкой и такими же черными вьющимися волосами, которого мне всегда хотелось назвать макробиологом, потому что разбирался он в биологии отменно. Наверное, именно поэтому в деревне у него одного (хотя пытались многие) жили и «работали» пчелы.

Он был сух и вынослив.

Третьим был штатный охотник Егорыч.

Дед уже разделся и стоял теперь с тазиком в руках и запаренным в нем крапивным веником. На ягодицах у него были такие же глубокие провалы из сморщенной кожи, как и на ключицах.

– Ты уж, Егорушка, попарь меня как следват, – обратился он к Егорычу. – А то к непогоде поясница ноет. У старухи-то моей тоже к непогоде кости стонут.

Я знал, что «бабу Феклу» – опрятную старушку старика – года два уже как похоронили...

– Попарю, попарю, деда, – отвечал Егорыч. Медленно, как очень уставший человек, раздеваясь.

Видно было, что он вернулся из тайги, издалека...

– Бегал по чернотропу с собачками, – сказал он, обернувшись к нам. – Проверял новую псинку. Вроде ничё, смышленная...

– Как пар? – бодро крикнул Эдгар Иосифович, подскакивая к двери в баню и открывая ее перед дедом, который только сейчас доковылял до нее.

– Нормальный, – сказал я.

Виктор в это время пил квас.

– Надолго к нам, – спросил его Егорыч, когда он кончил пить.

– Да, нет. На праздники только...

– Че так? Зазимовал бы здесь. Мы б тебя оженали. Вон, дочь Аги невеста уже. Золотая была бы жена! Никогда б не перечила... Только мычала б как телушка... Дай-ка и мне кваску. Сопрел весь, пока дошел до деревни.

Виктор передал ему бидон с квасом.

Он взял его и, пошевеливая пальцами очень белых ног, освобожденных от кирзачей и портянок, стал медленно и с наслаждением пить прямо из бидона.

– Ну как, купаться нынче в Байкале будем? – опять задорно спросил меня Эдгар Иосифович.

Я неопределенно пожал плечами.

Стоп был, наверное, одного возраста со Славой Мироновым, но «много преуспел в науке, потому что не расплылся, а сосредоточился на одном», а именно на клетке водоросли Хара. Все, что было за пределами клетки этой водоросли, его мало интересовало. Да он, пожалуй, и не знал, что там за ней. Впрочем, как и большинство узких специалистов. Но зато все, что было внутри клетки, он знал досконально. Клеточник был первостатейный. Он, как и Слава, был сух и подвижен, но уже лысоват, и к тому же один глаз из двух у него был стеклянный.

Было странно, разговаривая с ним, видеть вперившийся в тебя неподвижный взор.

Со Славой они почему-то не ладили.

– Далеко ходил, – спросил Слава Егорыча, который, кончив пить, все еще блаженствовал, пошевеливая пальцами ног, пятками упирающихся в мягкие байковые портянки, лежащие на сапогах.

– Да, нет. До третьей гривы. За Сеннушку.

Эдгар Иосифович стал доставать из своей сумки всевозможные пузырьки.

– Ну что, с травкой поддадим? – спросил он, ни к кому не обращаясь.

– А что у вас? – поинтересовался я.

– Эвкалипт, нашатырно-анисовые капли, мята...

– Погоди, Осич, – вмешался Егорыч. – Дай чистого пара сначала хватнуть. Потом уж со своими капельками поддавай.

– Да это же от всех болезней, Егорыч! Ингаляция знаешь какая!

– Не знаю... Я пойду по-быстрому попарюсь. А ты лучше ребятам пока про глаз расскажи...

Я раз десять потом слышал эту «глазную» историю от разных людей и отличную в некоторых деталях, но так до сих пор и не понял, байка это или была.

Слава с Егорычем ушли париться. А мы с Виктором и местные парни приготовились слушать.

Тело приятно холодило. Как будто кожа была мягкой корочкой только что вынутого из печи пирога, обдуваемого легким ветерком. И как-то погуживало изнутри. Словно там имелось огромное космическое пространство типа колокола.

Стоп рассмеялся и, надернув на голое тело махровый халат, который только он один приносил в баню (кроме этого на нем были: войлочная шапка, белые брезентовые верхонки и розовые резиновые тапочки), начал рассказывать.

– Дело было прошлым летом...

Проходил у меня преддипломную практику один студент. Непутевый такой парень! Сокурсники почему-то прозвали его Барбос. Между тем очень неглупый был Барбос. Но пил; нещадно и без меры. До отключения. Если предоставлялась хоть малейшая возможность.

Ну вот однажды он ко мне и притащился, часов в двенадцать ночи, домой...

Да нет, даже больше двенадцати было, так как свет уже отключили, и я еще подумал: как это он по темной деревне дотопал до меня из нашей лабораторной избы, нигде не свалившись, ибо держался на ногах весьма неустойчиво. И слова выговаривал очень медленно, долго обдумывая каждое перед тем, как его произнести, а может быть, с трудом собирая его из отдельных букв, рассыпанных в голове.

Выглядело это уморно.

Стоит передо мною молодой человек. В белой рубашке, идеально сшитом темно-синем пиджаке, джинсах и в белом халате поверх всего этого. Халат, несомненно, говорит о том, что он явился ко мне из лаборатории – а не с пирушки какой-нибудь, – где мы проводили как раз суточные опыты, делая через каждые четыре часа необходимые замеры. И по очереди: сутки я, сутки он проводили в онай.

Ну, значит, стоит он, слегка покачиваясь на пороге веранды. Смотрит на меня прозрачным взором, в котором пляшет пламя керосиновой лампы, которую я держу в руках. Войти отказывается, мотая своей лохматой головой и повторяя с бездушием механизма примерно следующее.

– Эд-рр Осич, нужен спирт для опыта. – Спирт выговаривает четко – во всем остальном заклин. – Грамм двести...

Я стою перед ним в трусах, майке и говорю ему:

– Проходи, Юра.

А он мне:

– Срочно нужен спирт для продолжения опыта. Молекулы гибнут. Им тяжело, – словом, несет какую-то околесицу.

Я ему опять: «Ты проходи». А он мне снова: «Срочно нужен спирт». Хотя спирт в опыте почти нигде не применяется.

В общем, я понял всю безнадежность нашей дальнейшей беседы. Да и холодно стоять в трусах у открытой двери, тем более выскочив из нагретой постели.

Тогда я говорю ему:

– Заходи, Юра. Сейчас я тебе отмерю положенного. Он вошел. И сел так сми-ии-рненько на диван (руки на коленях), стоящий у старинного круглого стола.

Я вынес ему из дома разведенного спирта, грамм пятьдесят, и огурец.

Он выпил. Огурец с трудом, но запихал все же в нагрудный карман пиджака, как авто-ручку. Посидел буквально несколько секунд в неподвижности. (Руки на коленях по-прежнему.) А потом тихо так стал сползать набок, пока не достиг головой черного дерматинового валика дивана. Ноги, тоже тихо, как в замедленной киносъемке, к животу подтянул. (Тапочки с ног

на пол свалились. Оказывается, он в тапочках пришел!) Руки сложил лодочкой, всунув между коленей, – и затих.

«Ну, – думаю, – ладно, пусть проспится. Опыт я сам до конца доведу».

Завел будильник на полчетвертого. А глаз, как обычно, на веранде на столе в стакане с водой оставил.

К четырем и к восьми часам, как положено, ходил в лабораторию, чтобы сделать необходимые замеры.

Юрасик в это время безмятежно спал.

Я тоже после восьми отключился.

До следующего замера почти четыре часа. Думаю, посплю часа два, а потом позавтракаю и пообедаю одновременно. Да растолкаю «гостя», если он еще будет спать.

В десять часов будильник так проти-ии-вно зазвенел. (Я заметил, что будильник всегда звонит противно, когда еще хочется спать.) Я едва продрал глаза. Вернее, глаз, и со злобой на своего дипломника, устроившего мне незапланированный недосып, вышел из сумерек дома с занавешенными окнами на залитую солнцем и душную уже веранду.

Солнце было такое яркое, что я даже зажмурил свой единственный глаз. А когда отжмурил его, то увидел, что никакого Юрасика, которому я собирался сделать «разнос», на диване уже нет.

Но это бы еще полбеды. Главное, что и глаза моего в пустом почему-то стакане, стоящем на столе, тоже не оказалось.

Я стал припоминать, брал ли я ночью глаз из стакана, когда ходил в лабораторию, или ходил туда без него?

Вспомнить не смог. Потому что уж больно какая-то сумбурно-бестолковая ночь получилась.

«Может, его в лаборатории замочил?» – подумал я...

Перекусив и завязав место с отсутствующим глазом красной лентой (другой не нашлось), я отправился в таком пиратском виде в лабораторию.

Юра уже был там и готовился к съемке двенадцатичасового опыта. Он был бледен и пил кофе, который подогревал на спиртовке в стеклянной колбе.

Глаза моего в лаборатории он не видел.

«Может быть, студенты так глупо подшутили? – подумал я. – Спрятали куда-нибудь, а к вечеру подкинут?»

Взглянув на Юрасика, на его мелкотрясущиеся с чашкой кофе руки, я понял, что ему, конечно, не до шуток. Спросил его: были ли в лаборатории студенты и во сколько он пришел сюда?

Он ответил, что были. С утра. А недавно ушли на берег ловить гаммарусов для опытов. И что он здесь уже часа два.

Видно было, что говорить ему трудно, как человеку, страдающему морской болезнью.

Ни к вечеру, ни на следующий день глаз так никто и не подкинул.

Я позвонил в Иркутск жене, чтобы она мне привезла в субботу запасной.

Но до субботы было целых пять дней!

«Ничего себе неделька начинается!» – сказал приговоренный к смерти, идя к гильотине в понедельник. Вот и у меня были примерно такие мысли.

Через два дня Юрасик отпросился у меня в Иркутск, в больницу, жалуясь на общее недомогание и рези в животе.

Перед этим местная фельдшерница щупала и мяла его живот, но определить так ничего и не смогла. Предположила отравление. И посоветовала ехать в город...

Я, наученный горьким опытом, на всякий случай проверил все заспиртованные и заформалиненные препараты. Они оказались в целости и сохранности. Так же как и спирт в компасе нашего лабораторного катера...

В Иркутск он уехал в среду, а в пятницу к вечеру уже вернулся назад.

А утром, в субботу, я нашел в лаборатории свой глаз.

Он обнаружился в стакане с водой среди химической посуды за вытяжным шкафом, где я его, по-видимому, ночью с воскресенья на понедельник и оставил по рассеянности.

О посещении же Юрасиком больницы я узнал совершенно случайно от знакомой врачихи, лишь поздней осенью, вернувшись с биостанции в город.

Ривва Ароновна была приятельницей нашей семьи. И как-то под вечер пришла со своим мужем навестить нас.

Вечер выдался какой-то смешнучий. Мы пили много кофе. Много смеялись. Рассказывали анекдоты. Шутили.

– ... Я вам анекдот из жизни расскажу, – просмеявшись после какой-то очередной шутки, сказала Ривва Ароновна, – не застольный, правда, но уж извините заранее.

Приходит ко мне как-то летом пациент. Студент. Стройный такой, кучерявый брюнет с голубыми глазами. Чем-то похожий на латиноамериканца. И грустно так говорит мне: «Доктор, у меня запор. Уже три дня. А вчера в туалете, когда я пытался... ну, напрягался, в общем, смотрю, кровь в унитаза капнула...»

Ну я уложила его на кушетку. Живот мне его не понравился – вздутый какой-то, твердый, но не так чтобы очень... Язык посмотрела. Язык нормальный. И клиника никакая не прослеживается вроде. Думаю, может, и в самом деле простой запор и все лечение клизмой ограничится. А кровь из-за образовавшейся от натуги трещины на анусе может быть.

Ну-с, говорю ему, молодой человек, встаньте! Повернитесь ко мне спиной! Приспустите брюки. Наклонитесь...

Раздвинула я ему ягодицы и, поверите ли, чуть в обморок не упала...

Ривва Ароновна снова звонка рассмеялась.

– Представьте! – сквозь смех, вытирая платочком катящиеся слезы, проговорила она. – На меня из ануса этак наивно-трогательно, с любопытством даже, уставился человеческий глаз... И трещинка на анальном кольце как раз на 12 часов оказалась, как я и предполагала.

Она опять рассмеялась и повторила сквозь смех:

– Он нагибается. Я нагибаюсь... Нет это просто умора! Такого в моей практике еще не бывало!

Моя жена взглянула на меня и весело так заржала!

Я, надо сказать, тоже смеялся, но не от веселости. И глаз искусственный у меня вдруг зачесался ни с того ни с сего. И мне его захотелось вынуть и положить в баночку со спиртом.

Егорыч со Славой раздуманные вышли из бани, отдуваясь и побряхтывая.

– Силен парок! – выдохнул Егорыч.

– Ну, теперь нам пора – пришла наша пора! – сказал Эдгар Иосифович, приглашая нас с Витей и забирая с лавки свои пузырьки.

Второй пар у меня уже с веничком. С травками, для ингаляции, если они есть. Что особенно приятно сейчас, осенью.

В ковшик или кружку с небольшим количеством воды капашь несколько капель эвкалиптовой настойки, например, и выплескиваешь все это на раскаленные камни. Да вдогонку еще раза два чистой водичкой плеснешь. И скорее на полок, на самый верх!

А там уже запах, как в эвкалиптовой роще где-нибудь на юге.

Правда, я никогда не был в такой роще и не знаю, такой ли там запах. Мой опыт об ароматах эвкалиптовой рощи почерпнут целиком из банных процедур.

Честно говоря, мне больше нравится подбрасывать с нашатырно-анисовыми каплями. Запах, конечно, не такой смолисто-духовитый, как у эвкалипта, а резкий, продирающий...

Но, если на дворе холодная погода, да еще простуда привязалась, нет лучше этого пара тогда...

За бревенчатыми стенами бани ветер...

В маленькое оконце парной видно, как пригибает он верхушки берез, срывая с них последние листья и унося их куда-то в сторону...

На Байкале вода от фиолетово-зеленоватой до почти черной с белым кипением вершинок волн, которые тоже срывает, срезает ветер, превращая белоснежный загиб волны в фейерверк холодных быстрых брызг...

А в бане, на полке, в это время как в Африке!

Тело млеет от приятного расслабляющего тепла с запахом свежее испеченного хлеба (это с пивком подкинули), или мяты, или чего другого, напоминающего о солнце, лете, зеленом луге.

Когда разомлеешь до бесчувственности телесной настолько, что, закрыв глаза, уже не можешь определить где твоя рука, где нога, осталось ли у тебя еще тело или только душа, начинаешь хлестать себя веничком.

Из всех сортов веников: дубовых, пихтовых, березовых, можжевельных – простых и с добавлением мяты и веток черной смородины – мне больше всего нравятся пихтовые и березовые.

Обычно я делаю смешанный веник. В березовый вставляю несколько пихтовых веток.

От распаренной хвои пихты идет такой ядреный, бодрящий, смолистый дух! А листья березы так славно, как опахало, подгоняют к телу знобящий жар! И так прилипают к телу, что хочется ойкнуть и засмеяться, и закричать одновременно.

После пропарки с ветками пихты еще и на следующий день чувствуется едва уловимый, чистый лесной аромат. Поднесешь руку к лицу, вдохнешь – и почувствуешь далекий как будто запах хвои.

Эдгар Иосифович, как тонкий дегустатор, поддавал пара, не перебарщивая с травками и не смешивая все в кучу.

Мы с Виктором с остервенением хлестали себя вениками, постанывая, побрякивая, шумно выдыхая.

Уши, ничем не прикрытые, жгло от сухого жара. Руки без верхушек не терпели резких движений с веником.

– У-уу-ф, – делаю я последний удар веником по спине и выскакиваю в предбанник. (Витя со Стопом продолжают париться.) Красный, с полосами от веток (с которых облетели листья) на руках и на спине.

От тела валит пар.

Падаю спиной на лавку и лежу неподвижно, прислушиваясь к приятному, то возрастающему, то удаляющемуся куда-то гуду внутри себя.

Нетеплый воздух предбанника приятно холодит кожу.

Ни мыслей ни о чем, ни воспоминаний нет.

Есть только настоящее. Есть силы жизни, которые ты ощущаешь в полной мере. И счастье оттого, что тебе эта жизнь дарована. Через некоторое время начинаешь слышать разговоры.

Об охоте, о ягодно-грибных делах, о заготовленном сене и скотине, о проблемах местных и глобальных, которые распаренные мужики готовы решить тут же, в бане.

Тихая радость, как солнечный зайчик на белой беленой стене, гнездится в тебе. И самому уже охота рассказать какую-нибудь байку. Шкодное что-нибудь, с подковыром.

Но лежишь, закрыв глаза одной рукой, другая – под головой, стараюсь не расплескать в себе эту тихую, как луч света в темной воде омутка, радость, и думаешь: «Вот ради всего этого я и приехал сюда... В эту деревушку, к этим добрым людям, которые искренне рады тебе...»

Ради чего «всего этого» объяснить невозможно, как невозможно с кем-то поделиться этой первозданной, первобытной, языческой радостью. Это не то, что в городе, с праздничным обедом у телевизора. С рюмашкой в руке, тяжестью в животе и с разговорами ради заполнения времени между двумя переполненными, воняющими выхлопными газами автобусами по дороге к «друзьям» и обратно.

После того как отойдешь от второго пара. Наговоришься о значительных пустяках нашей незначительной жизни. Попьешь кваску (по прохладной струе которого, проникающей внутрь, только и определишь, что у тебя есть как будто только что образовавшееся горло) или брусничного морса, идешь, еще не совсем остыв, капитально мыться.

Дважды мылишься, растирая тело мочалкой до покраснения, до приятного жжения кожи. Дважды обмываешься горячей водой.

Спину прошу «продраить» намыленной вехоткой соседа по лавке.

После такого капитального мытья, уже достаточно остыв, идешь на третий пар весь чистый, как анкета какого-нибудь партийного лидера.

Третий пар ничем не отличается от второго.

Так же «жаришься» веничком! Так же вдыхаешь аромат эвкалипта, мяты или смородины (если в бочонке с горячей водой, которой поддаешь, лежат смородиновые ветки).

Различие лишь в том, что после хорошей распарки на сей раз сигаешь в затончик с точной ледяной водой (зимой – в снег).

«Вряд ли кто сегодня побежит в ручей, – думаю я, нахлестывая веником по пяткам, лежа на спине и задрав ноги кверху. – Ноябрь уже все-таки. Да и ветрено...»

Но, выскочив из парной в предбанник, я вижу, что Эдгар Иосифович уже натянул на себя третьи шерстяные плавки, специально приносимые им в баню в таком количестве для «водных процедур».

Мы со Славой Мироновым (Витя отказался от «такого удовольствия», решив пропарить поясницу еще и крапивным веником) тоже натягиваем плавки и бежим к затончику. Благо, что бежать всего-то несколько шагов.

Температуру воды в первый миг не чувствуешь совсем. Но уже через секунду тебя как бы сжимает ледящим огнем, сразу уменьшая в размерах.

Шумно, с гиканьем выскакиваем из воды. Тело покрывается синевато-розоватыми разводами.

Теперь уже и ветер, и холод земли ощутимы...

Иногда, если пар особенно легок, сигаешь в затон после очередного захода, следующего сразу же за предыдущим, еще раз. Сосуды то расширяются, то сжимаются резко, и ты как будто чувствуешь это.

И снова в парную! Теперь уже просто прогреться, без веника, лежа на сухих, раскаленных осиновых досках...

После бани, одетые, с обмотанными вокруг шеи полотенцами, мы еще некоторое время блаженствуем («остываем») на завалинке.

И в уже приближающихся осенних сумерках, счастливые, голодные, идем домой. Где, мы точно знаем, топится печь и ждет ужин с рюмашкой-другой...

Одного мы не знаем еще, поднимаясь в горку к нашему дому, что Алик все-таки каким-то чудом добрался до Котов и нас ожидало еще кроме прочего: бутылка шампанского, стоящая на полу в ведре с холодной водой, и янтарные куски жирного копченого омуля, которого, как и обещал, он привез с собой.

Когда мы вошли в дом, стол был уже накрыт. И свет уже горел. (За окном сразу стало темнее.) И за столом с Кристиной и Натальей сидел Алик и что-то им веселое рассказывал. Его жена Фуриза в другой комнате кормила ребенка грудью, и поэтому шторы на двери были задернуты и слышалось только довольное причмокивание ребятенка.

- Привет, Алик!  
– Привет! – ответил он, выходя из-за стола.  
Мы с ним пожали друг другу руки.  
– Ну, как дошли? – спросил Виктор, тоже пожимая руку Алику.  
– Да, ничего, успели до горняжки<sup>6</sup>. Только у Черной уже прихватило немного. Думал, все, кранты! Богу начал молиться, поверишь ли.  
– Какому? Магомету? Христу?  
– Единому и Всеобщему, Витя...

\* \* \*

Все уже были за столом.

Алик быстро освободил еще несколько омулин от костей и кожицы. И, нарезав их толстыми ломтями, сразу испортив, по мнению женщин, всю сервировку стола, положил на блюдо.

Получилась эдакая небольшая поленница, составленная из отдельных больших кусков.

Рядом, в глубокой керамической тарелке светло-коричневого цвета, лежала сочная, влажно поблескивающая зелень. Укроп, петрушка, лук.

Спелые, крупные помидоры с тонкой, с каплями влаги на ней кожицей, казалось, готовы были лопнуть от распирающей их спелости. На самом верху, прямо на зелени, тоже тщательно вымытые, покоились небольшие пупырчатые огурцы.

На разделочной доске – куски черного и белого хлеба.

Кругляшки желтовато-молочного колбасного сыра были положены на блюде с трещинкой.

Большая, глубокая сковорода, стоящая посередине стола на плоской кругляшке, отпиленной от чурки средних размеров, завершала сервировку стола.

Конечно, все это выглядело не так изысканно, как иллюстрации в книге «О вкусной и здоровой пище», но нас вполне устраивало.

Парок, витающий над сковородой, закрытой желтой эмалированной крышкой, доносил до нас запах жаренной на растительном масле картошки с тушенкой и луком.

На улице, на лавке, перед кухонным окном, в наполненном на треть холодной водой эмалированном ведре, вынесенном туда Виктором минут десять назад, охлаждалась бутылка полусухого шампанского ростовского разлива и плоская, но весьма вместительная металлическая фляжка со спиртом, предназначенным для протирки контактов в каких-то мудреных физических приборах. Витя утверждал, что контакты в приборах лучше всего протирать одеколоном «Миф». «У него такой приятный запах! Не то, что у спирта».

Устраивало нас все это еще и потому, что все мы были достаточно молоды, давно и хорошо знали друг друга. А потому нам было хорошо всем вместе. И особенно хорошо здесь, в этой деревне Большие Коты, которую каждый из нас любил по-своему за что-то.

Девушки к ужину принарядились! Облачившись в какие-то патриархальные, длинные снизу и декольтированные сверху одежды, оставленные ими в этом доме еще с лета.

Эти яркие, цветные одежды почему-то ассоциировались у меня с карнавалом, с чудесными волшебными, волнующими превращениями. И дамы в них выглядели таинственными, высокомерными и недосыгаемыми, какими всегда кажутся женщины, уверенные в своей неотразимости...

– Давайте зажжем свечи! – сказала Кристина, обращаясь в основном к Вите, который уже принес с улицы эмалированное ведро и в это время смешивал спирт с брусничным морсом.

---

<sup>6</sup> Горняк, горный – ветер, господствующий на Байкале, северо-западного направления.

Алик раздобыл в соседней комнате деревянный подсвечник с тремя стройными нарядно-белыми свечами и поставил его, сдвинув кой-какую посуду, на середину стола. Еще две свечи, воткнув их основания в бутылки из-под кетчупа, поставили по краям.

Живое пламя притягивало к себе взгляд.

Пространство как бы сузилось до освещенного пятью свечами продолговатого квадрата стола.

Предметы, находящиеся за этим освещенным пространством, сразу погрузились в бархатистый мрак. И только свет из щелей печной дверцы отвоевывал у темноты часть беленой печной стены.

Огоньки возникали и гасли в таинственной розоватости брусничного морса, слегка колеблющегося в стеклянном пузырчатом кувшине с широким горлом.

Это мерцание напомнило мне почему-то заветную очень большую лужу моего детства, расположенную между «шоссейкой» (знаменитый Московский тракт) и нашим домом, стоящим на краю поселка...

В этой довольно глубокой луже я научился плавать. И по этой же луже я «ходил» летом на плотике, сколоченном из досок и длинных чурок, вытасненных мной из нашей поленницы. А вместо капитанского кителя на мне были только сатиновые синие трусы.

Иногда я ложился животом на прогретые доски плота и в щели между ними смотрел на красиво заросшее какой-то мягкой зеленой растительностью дно. Следил за водомерками и большими черными водяными жуками, которые в тени моего «судна» то исчезали в этих зеленых таинственных лесах, то, плавно работая своими веслоподобными лапками, взмывали вверх. Или уходили на солнечную сторону. Или подплывали к блестящему, как изумруд, зеленому кусочку бутылочного стекла, лежащему на дне. А какие чистые, белые облака плавно скользили по синему-синему небу! И сколько счастья было в этом лежании на плоту посреди своего «океана»! Казалось, ничего на свете не может быть лучше. Свобода! Легкий ветерок. Облака. И этот таинственный подводный мир с жуками наутилусами, о котором я только что-то от кого-то слышал, но не читал еще тогда этой книги.

Когда много лет спустя я приехал в поселок моего детства, то ни лужи, ни нашего дома там уже не было. Место, где когда-то находился «мой океан», было забетонировано, и на этом квадрате бетона расположилась платная стоянка для автомобилей.

А еще много лет спустя, когда не себе, а своему сынишке уже, я впервые прочел роман Жюль Верна о «Наутилусе», «80 000 километров под водой», то убедился, насколько полнее, красочнее, таинственнее, чем в изложении про капитана Немо, были мои детские неясные предчувствия и фантазии.

Вообще сухость романа, написанного как научный отчет, поразила меня. (Видимо, определенные книги должны быть прочитаны в определенном возрасте.) И это было, пожалуй, единственное, что меня поразило в этом романе, который я так же, как и «Путешествие Гулливера...» Свифта, с трудом заставил себя дочитать до конца из-за присутствующей в этих романах скуки.

По-видимому, создавать свой фантастический мир гораздо интереснее, чем следовать за фантастической мыслью другого человека... Особенно когда смотришь на мир добрым взглядом ребенка.

Голос Кристины: «Шампанского в номера!» – возвратил меня из детства в настоящее.

Пробка с резким хлопком вылетела из бутылки и, ударившись о потолок, упала на пол.

Алик разливал пенистое холодное шампанское по граненым стаканам (Фуризе он налил брусничного морса из кувшина), в которых тоже плескался свет свечей.

Не знаю, кого как, а меня после бани преследуют два чисто физиологических чувства (об остальном я уже говорил) – это жажда и голод.

Я залпом поэтому выпил свою порцию шампанского (в котором разрывались пузырьки воздуха, всплывавшие наверх), пить которое, особенно после бани, такое наслаждение!

Затем стакан брусничного морса. И только после этого, утолив первую жажду, начал есть.

Копченый омуль после шампанского был, по-моему, нисколько не хуже апельсина. Во всяком случае, какого-нибудь несочетания сих продуктов я не обнаружил.

Еда, как и шампанское, доставляла удовольствие. «“Они насладились едою...” – вспомнил я из Гомера. – Молодцы древние греки! Не просто ели, питались, получали необходимое количество калорий – они наслаждались едою!»

– Ну что, по рюмашке спиртяжки? – предложил Виктор мне и Алику, извлекая из ведра с водой, стоящего у его стула, фляжку. – Под горячее.

– По рюмашке можно, – ответил я. – Ибо сказал Парацельс: «Все – лекарство. И все – яд. Мера всему – цена».

Глоток спирта (а именно такие мельхиоровые рюмки – на один глоток – и были у Вити в комплекте с фляжкой) был не так приятен, как шампанское, и я подумал, скорее запивая его морсом, что, пожалуй, без этого я мог бы и обойтись.

Но когда теплая, расслабляющая волна, снимающая последние капли психологического напряжения наших сумасшедших дней, растеклась по всему телу, я, уже немного опьяневший, додумал: «Я могу без этого обойтись, но – не хочу... пока».

\* \* \*

– Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную, – вещал Кристине Виктор.

– Какой ты, Витюшка, прагматик, – отвечала она ему.

А жена Алика, которая как-то так и не приросла к нашей компании, вернула ни с того ни с сего:

– Счастье в воздухе не вьется, а руками достается...

Свечи уже наполовину догорели. И были теперь не такими изящно-стройными, как вначале. Они казались мне усталыми, с оплывшим и застывшим бугорками по бокам свечей и подсвечнику парафином. Очертания этих бугорков почему-то напомнили раздутые тромбоз-флебитом вены, которые вдруг проявляются у некоторых женщин весной и летом, когда они начинают ходить с открытыми ногами.

А все это вместе напомнило мне вдруг о бренности жизни...

Фуриза с Кристиной (Наталья убаюкивала в другой комнате Диму) стали убирать лишнюю посуду из-под еды и расставлять на столе чашки для чая и пиалушки с вареньем из черной смородины, малины и черники.

Алик поставил на стол самовар, от которого пахло дымком. И который еще продолжал «говорить». Слегка пошумливал, напоминая одновременно и вздох, и шум далекого, запутавшегося в кронах сосен ветра. Слегка побулькивал, как будто довольно урча.

Малиновые угли в фигурных вырезках самовара снизу «подмигивали» нам, распространяя на подносе круг колеблющегося света.

На резной конфорке, в верхней части самоварной трубы, прел большой керамический чайник с заваркой, парок из которого доносил запах свежесваренного чая со смородиновым листом.

Витя включил свет, а я задул последнюю свечу, радуясь яркому освещению, которое проникло во все углы комнаты.

Потом я взял самую маленькую из всех расставленных на столе чашек, чтобы чай не успевал остывать, пока его пьешь. Я люблю пить очень горячий чай: «С пылу, с жару, с самовару». Причем вначале я наливаю в чашку немного сливок. Потом – заварки. И только уж

потом разбавляю все это кипятком, струя которого «плюется», если наливаешь чай из только что кипевшего самовара.

Пью вприкуску с карамелькой или вареньем.

Сливки на сей раз нам заменило деревенское молоко (вполне напоминающее, впрочем, магазинские сливки), трехлитровую банку которого «для ребятишек» женщины взяли у местных жителей, некоторые из которых еще держали коров.

Чай пили долго. Допоздна...

Бутылки из-под кетчупа с застывшим на них парафином напоминали обрызганные океанскими волнами, которые обледенели, не успев скатиться с них, скалушки где-нибудь на Командорских островах...

Разговор то оживлялся, то смолкал. И тогда слышалось только швыркание с блюдец горячего чая да покряхтывание. А мне вспомнилось бабушкино: «Всяк пьет, да не всяк крякнет».

О чем же можно так долго говорить?.. Уже и свет погас – вновь замерцали свечи...

Да обо всем...

О том же, о чем говорят обычно все люди на земле. Молодые и старые, умные и не очень. О жизни... Ибо цель жизни и есть сама жизнь. Сам ход ее, движение, а не какая-то высшая или последняя точка.

И мы, занимая промежуточную возрастную инстанцию между рождением и смертью, говорили о том же, о чем говорят дети и старики, правда, думая, а вернее, надеясь на то, что мы более разумны, чем дети, ибо испытали уже на себе горечь так называемого жизненного опыта, и менее консервативны, чем старики, потому что еще не ощутили в полной мере всю суетность своих порывов и желаний.

Вот и этот вечер уходит... И удержать его мы не можем.

«Над аркою нашей встречи горят поминальные свечи».

Потом я провалился в сон, только дойдя до кровати, как бы страшно и тихо падая в мягкую бездонную пропасть.

Какое-то время на границе меж явью и сном я еще слышал, как беснуются с подвыванием, волны, ударяя о высокий скалистый берег, на котором стоит наш дом. Как устало постунывают от ветра стропила крыши. Как что-то покряхтывает, шуршит за печкой. Как с длинными ленивыми паузами потрескивают в ней последние поленья...

### *Воскресенье*

– Мама, я описался, – услышал я голос Димы, еще не пробудившись до конца.

А когда открыл глаза, то увидел, что туман плотно заклеил в доме окна. И от этого в комнате было сумрачно, прохладно и тихо.

Я подошел к Диминой кровати, переложил его в свою постель...

– Спи. Еще рано, – шепотом сказал я ему.

...Снял с его кровати мокрую простынку и повесил у белой стены еще теплой печки.

Все спали. И даже Наталья, кровать которой была рядом с Диминой, не проснулась.

«Видно, долго еще говорили после того, как я ушел спать».

Я вышел на кухню. На столе не было никаких следов вчерашнего «пира».

Чисто подметенный пол, блеск клеенки на длинном столе и туман за окном почему-то порадовали меня.

Я нащипал лучинок от сухого полешка, лежащего за печкой, и растопил печь.

Поставил на нее чайник и ведро воды на припечек (в доме всегда нужна теплая вода) и побежал на зарядку.

Туман был плотный и влажный. И порой казалось, что вдыхаешь не воздух, а воду.

Дорога была плохоразличима. Бежать в таком тумане было трудно, и я пошел пешком.

Деревья вдоль дороги возникали внезапно. Сначала темными, длинными, размытыми тенями. Потом уже стволами с более отчетливыми контурами.

Байкал был не слышен. Как будто бы его украли в эту ночь.

Ни шуршания гальки. Ни вдоха волны...

Иногда только ленивый всплеск воды из ватной неподвижности тумана. («Плавится рыба».) И ужас исчезновения Байкала – даже только в мыслях – отступит...

Я спустился по дороге к невидимому сейчас и лишь угадываемому по журчанию ручейку в пади «Жилище».

Туман перестал быть всеобщим. Превратившись в низине в плотный белый пласт, который прогнулся, прижимаясь к земле, повторив очертание низинки и оставив над собой более рассеянный слой и совсем уже почти ясно различимые вершины деревьев на фоне беловато-серебристого неба.

На другом берегу ручья, к которому я уже подходил, я увидел «летающую» ярко-рыжую корову.

«Ух ты, ирландка какая!» – подумал я. Верхняя часть коровы плавно двигалась над слоем тумана.

Время от времени ее голова исчезала внизу. И тогда были видны только бока и спина животного.

Иногда из тумана начинало подниматься длинное вертлявое существо с кисточкой волос на конце и принималось лениво похлестывать корову по бокам и спине. Потом хвост исчезал и снова появлялась голова.

Корова, увидев меня, перестала скользить по поверхности тумана и, непрестанно жуя, уставилась на меня своими черными красивыми печальными глазами.

Может быть, ей тоже было странно видеть плывущее по поверхности тумана туловище с головой.

А может быть, она подумала, что у меня есть хлебушек с солью.

Я подошел совсем близко к ней и услышал неповторимый запах коровьей отрыжки (что-то среднее между недавно скошенной травой, пенным парным молоком и сеновалом), когда она выдохнула, вытянув морду в мою сторону.

Я почесал ей за ушами. Погладил снизу шею, начиная с груди до конца морды, которую корова вытянула от удовольствия, прикрыв глаза.

– Нет у меня, Буренушка, хлебца с солью, ты уж извини, – сказал я ей в ухо...

«Стоп. Это было не в осенний приезд. Кажется, это летние воспоминания... А может, и в тот раз было...»

Нет. Все-таки этот запомнившийся мне эпизод о плывущей поверх тумана корове пришел из летних воспоминаний. Потому что я помню, что воздух был такой же теплый, как выдох у коровы.

А в тот раз я вышел на улицу, вернее, сходил куда надо. (Ибо удобства в Котах – на улице. В таком беззаконном теремке, стоящем на склоне горы выше дома.) Убедился, что бежать на зарядку в таком тумане невозможно, и вернулся в дом. Точно помню, что вернулся радостный оттого, что можно дать себе поблажку, что не надо заставлять себя делать зарядку и оттого, что в доме уже тепло и уютно, и что вымыться можно теплой водой, из ведра, стоящего на приступке у печной трубы, и даже побриться возле умывальника за печкой.

«Дров не надо. Вчера наготовил... На неделю хватит... Можно просто завалиться после завтрака на кровать и читать! Какое это счастье – читать хоть целый день, никуда не спеша».

Я убрал на печи две конфорки из трех.

Огонь весело заволновался, завихрился в образовавшемся круге. Переставил чайник на этот огненный круг.

Пока вода нагревалась, я открыл поддувало и выгреб в ведро золу.

Дышащие жаром малиновые угольки падали в щели колосника и в полумраке поддувала напоминали мне не то метеориты, не то гаснущие звезды...

Наполовину утонув в золе, они продолжали тлеть. Таинственно и безнадежно мерцая.

Когда я высыпал золу из ведра в лужу, поросшую по краям сплошным зеленым мягким ворсом душистой ромашки, зола зло зашипела, а вода в лужице игриво булькнула раза два.

При подходе к печке чувствовалось, как тепло от нее ровно разливается по комнате невидимыми волнами.

Вода в чайнике уже согрелась, но не кипела еще.

Я налил воды в эмалированную кружку. Размочил в ней кисточку для бритья и провел ею по щекам, подбородку, шее. Кисточка была мягкая и от воды почти горячая. Поэтому касание ее было приятно...

Многие, и особенно женщины, почему-то считают, что бритье дано мужчинам в наказание.

Я думаю иначе.

Мне нравится сам ритуал бритья во всех его мельчайших подробностях, если, конечно, бреешься не в спешке.

Нравится приложить к колючке щетины полотенце, смоченное в горячей воде. Или смягчить щетину теплой водой, смачивая в ней кисточку и проводя ею по лицу.

Нравится выдавить из тюбика на кисточку немного пенного крема для бритья с едва уловимым приятным запахом и какой-нибудь наивной рекламой типа: «Приятное бритье!»

Нравится видеть в зеркале, как взбивается на щеках и подбородке от круговых движений мягкой кисточкой крем, наделяя тебя в одну минуту белой бородой а-ля Хемингуэй.

Нравится хорошим лезвием не спеша проводить сверху вниз по щеке и подбородку, сбриывая щетину и оставляя на лице среди белоснежной пены прямоугольную дорожку чистой розоватой кожи.

Нравится, тщательно выбрившись и смыв теплой водой остатки пены, смочить кожу мужским одеколоном или ароматной водой «После бритья».

Одеколон приятно холодит и слегка пощипывает как будто новую кожу. И ты сам становишься какой-то новый и праздничный.

Вот это все я и проделал, стоя возле печки у раковины, расположенного между ней и стеной, и глядясь в круглое зеркальце, вмазанное в стенку печи, и проверяя степень пробритости подушечками пальцев, проводя ими по лицу.

Поистине есть радость в мелочах...

### *Понедельник*

И в последующие два дня отдыха и пребывания в Котах, как и в воскресенье, я тоже сибаритствовал. Наслаждаясь приятной ленью, необходимым в деревне физическим трудом. Не тяготясь бездельем, потому что было что читать.

Помню, я тогда читал «Фиесту» Хемингуэя, валяясь на постели.

Или пил кофе, глядя в окно на Байкал. На дождь со снегом, который редкими снежинками кружился над страшной и черной байкальской водой.

Было приятно думать о том, что вот на улице морозец, слякоть, поздняя осень. И на Байкале шторм разбрасывает холодные брызги, ударяя волну о прибрежные скалы... А в доме тихо и тепло. У Димыча послеобеденный сон. Женщины о чем-то говорят вполголоса на кухне. Алик с Витей где-то возятся на берегу с капризным мотором. А тебе никуда не надо спешить. И можно снова вернуться на залитые солнцем улицы испанского городка, где проходит фиеста. И «поговорить» со стариной Хэмом.

Хемингуэй всегда и в самых трагических обстоятельствах оставлял мне надежду на жизнь. Надежду на существование личности исторического масштаба. На то, что воля человека может почти все.

Его трагический стоицизм перед лицом судьбы, несущей человеку страдания и смерть, был беспомощным, но светлым. Он был более незащищен, чем, например, скальпель логических умозаключений о смерти Сенеки или даже Камю, потому что опирался лишь на достоинство и мужество.

Но это-то как раз больше всего и привлекало меня. Достоинство и мужество – это такие редкие теперь находки в человеческой породе...

А его отрывок об обеде в таверне и рассуждение героев об «иронии и жалости» просто великолепно!

Я перечитывал это место несколько раз, не понимая до конца, почему оно так сильно воздействует на меня. В этом была какая-то тайна...

Или его подробное описание испанского, по сравнению с французским, обеда, где в числе прочего еще и два мясных блюда. А потому: «Нужно много вина, чтобы съесть испанский обед».

Но про обед я читал пореже, потому что после этого мне всегда хотелось есть. А «испанского обеда» у нас в Котах не было.

Так и запомнились последующие два дня, проведенные в чтении, в вечерних разговорах, при свете электрическом или керосиновой лампы (так как свечи кончились). В прогулках под дождем в одиночестве или с кем-нибудь.

В одиночестве, правда, предпочтительнее, потому что не надо говорить, то есть не надо пытаться свои чувства и мысли выражать словами, которые для этих двух вещей – все равно что неуклюжие рыцарские латы, запечатывающие прекрасное человеческое тело.

С сынишкой прогулки, правда, нравились, потому что тогда говоришь не о пустяках повседневности, а о чем-то значительном. «Как построить дом?», «Как помочь муравью перебраться через ручей на своей ненадежной соломинке?», «Как согреть дыханием увядшую травинку или посадить дерево?», «Откуда образуется солнце?» и «Как волосы на голове так густо навтыкались?»...

### *Вторник*

Запомнилась еще обратная дорога...

Лодки то поднимало почти до верха причальной стенки (каркас причала был срублен из толстых лиственничных бревен и укреплен внутри камнями, которые сверху были прикрыты плахами, прибитыми к этому каркасу) бревна на три, то опускало на столько же.

– Вроде бы не разгуливается... – не то подтвердил не то спросил Алика Виктор, глядя на Байкал, на темно-фиолетовой воде которого весело вспыхивали белые буруны-барашки волн.

– Вроде нет, – ответил Алик, тоже вглядываясь в Байкал, приложив козырьком ко лбу ладонь и прищурившись от холодного резкого ветра.

Вещи уже были уложены в лодки. А брезентовые тенты на них были плотно натянуты и упруго подрагивали при порывах особенно сильного ветра.

Я, Наталья и Кристина сидели на бордюрном бревне причала спиной к ветру и лицом к еще теплому солнцу.

Фуриза, как по старинному сибирскому тротуару, катала взад-вперед по доскам причала коляску с Денисом, который никак не хотел засыпать.

Димыч в своем красном финском комбинезончике с капюшоном, неуклюже стоя на ногах и каждый раз зажмуриваясь, когда поворачивался лицом к Байкалу, бросал в воду камешки.

– Может, переждать часа два, – донес ветер от лодок Витин голос.

– А черт его знает! – ответил Алик. – Может, еще больше разгуляется.

– Фи-ии-уу! Фи-и-у! – просквозил, взлохматив на голове волосы, очередной порыв ветра...

И вдруг тонко-тонко и жалобно так затрещала, защелкала застрявшая в трещине бревна, быстро колеблемая ветром туда-сюда щепка.

– Надо переждать, – сказал Виктор.

– Часа через два уже темнеть начнет, – ответил Алик. – Может, проскочим?.. За Толстым мысом должно поспокойнее быть...

– Подождем немного... Вроде бы чуть-чуть стихает.

– Да я бы хоть сто лет тут ждал!.. Да вот беда, что выбираться отсюда все-таки надо сегодня. Завтра ведь в должность идти, сам же знаешь...

«Да, – подумал я, – на м.н.с. все еще и держится в науке. Не явись завтра Виктор с Аликом в свою контору, там все развалится просто. Ни один прибор толком работать не будет. Это отсутствие академика какого-нибудь может быть не замечено хоть полгода. А без м.н.с. – труба!.. А получают они за свою работу!.. Не зарплату, а пособие по безработице, видимо, в шутку кем-то названное зарплатой... Да и работой, честно говоря, уже давно всерьез никто не занимается по причине ненужности никому продуктов труда. Одни просто проводят на работе время от и до, а иногда и не до... И таких абсолютное большинство. Другие заняты выстраиванием карьеры. А для этого в наше время не нужно иметь никаких особых талантов, но желательно и даже обязательно отсутствие позвоночника. Таких тоже не мало. И работать они уже не могут даже не потому, что не хотят, а по чисто физиологическим причинам. Попробуй поработай, если у тебя вместо позвоночника этакий то-оо-ненький, гибкий жгутик.

Те, кто имеет позвоночник, работают. И это в основном м.н.с.»

– Когда стоит выбор между прогулом и кормлением байкальских гаммарусов собой я выбираю первое. Тем более я в лодке не один. Да и ты, Алик, тоже.

Вернулись в дом.

Денис спал в коляске. А Димыч, когда мы подошли к дому, начал подпрыгивать и радостно кричать:

– Ура! Мы снова будем жить в деревне!

«Действительно, и что нас тянет в эти города? В эту грязь, копоть, вонь. В эту сутолоку вечно куда-то спешащих людей, заполняющих впритирку друг к другу автобусы и трамваи,двигающиеся в едва размытых желтоватым светом фонарей унылых сумерках новостроек. И везущие к “промышленным гигантам” таких же унылых, заспанных, злых людей... В центре города бешено мчащиеся по старинным улицам с деревянными домами автомобили, отравляющие своими выхлопными газами людей и разъедающие ими же деревянное кружево домов, не защищенных ничем от такого потока отравы... Среди этих домов лошадке бы цокать копытами... Да... город – это большой человеческий змеюшник, где соседи по лестничной клетке (не площадке, а именно – клетке), бывает, даже не знакомы друг с другом».

В доме было прохладно и уже как-то сыровато.

Остывшая печь в полумраке кухни казалась только что побеленной мелом.

Кровати аккуратно заправлены одинаковыми серыми биостанцевскими одеялами.

Как будто и не жил здесь никто никогда...

Странно... Каких-то часа полтора назад мы ушли отсюда, и все здесь стало уже иным. Чужим каким-то, необжитым, ненатуральным, что ли.

Видимо, с человеком из дома уходит и жизнь...

Ни читать, ни лежать на этих аккуратно и одинаково заправленных железных кроватях не хотелось. Они почему-то казались холодными, словно одеяла и простыни на них были из жести.

Мы все сидели в кухне и лениво, из угла в угол стола, катали неуклюжий шар разговора о разных пустяках. Иногда, правда, вдруг раздавался смех от удачно рассказанного о игрушечной нашей жизни анекдота, но тут же гас, как вздрагивающее на ветру пламя свечи...

Примерно через час стало стихать.

Порывы ветра все реже и реже били в оконное стекло.

Не так уже пестрел белыми пятнами Байкал.

Поскорее хотелось уехать. Или что-то предпринять, чтобы начать двигаться. Сидение в доме становилось тягостным, как в зале ожидания на каком-нибудь огромном вокзале, где ты полностью одинок в толпе. «Что может быть страшнее одиночества, чем одиночество в толпе. Когда бездумно всем хохочется. И горько плачется тебе», – откуда-то всплыло в памяти...

Часа в четыре мы отошли от биостанцевского причала.

Лодка Алика первая вышла из пространства воды, прикрываемого все-таки от прямых волн пирсом и составляющего вместе с неровной линией берега не совсем правильную букву «П».

Я увидел, как она вдруг куда-то исчезла, а на ее месте появился вал воды, который зеленовато, словно разной толщины бутылочное стекло, просвечивал кое-где. Потом она снова появилась впереди нас. Но уже чуть левее и выше.

Алик разворачивал лодку носом к волне.

Я не успел досмотреть сквозь лобовое стекло нашей лодки его маневр, потому что теперь уже наша лодка ухнула в какую-то яму и тут же вознеслась вверх, задрвав корму чуть ли не выше носа.

Я снова увидел лодку Алика с уже зажженным над тентом оранжевым огоньком где-то внизу. Как будто смотрел на Байкал с высокого берега.

Корму нашей лодки опять задрало. Моторы взревели, на какое-то время оказавшись вне воды... И тут боковая волна резко и сильно, как опытный боксер с хорошо поставленным ударом, шарахнула в корпус нашей лодки, вздрогнувший от этого удара как живое существо всеми своими заклепками, которые, как мне показалось, должны были от этого посыпаться, как мелочь из дырявого кармана.

Мы все повалились куда-то вбок, а волна с шуршанием перекатила через тент.

Лодка с трудом, словно раздумывая, перевернулась ей или устоять, выровнялась. И тут же новая волна ударила в борт с того же бока...

Третий удар пришелся уже на нос лодки. (Виктор успел ее развернуть поперек волны, и мы шли теперь, хотя казалось, что стоим на месте, как бы удаляясь от берега и в то же время вдоль него.) Волна распалась надвое, как расколотая колуном чурка. И лишь лизнула лобовое стекло лодки, которое тут же, на ветру, обледенело.

– Спи, спи, Димочка. Все в порядке, – услышал я сзади спокойный голос Натальи.

Такой спокойный, что в это было трудно поверить.

Я оглянулся и увидел Наташину голову, склоненную над сынишкой, который в своем красном комбинезончике уютно устроился у нее на руках и коленях. Она что-то тихо напевала ему.

Сумрак быстро сгущался (уже трудно было отличить фиолетовость неба от фиолетово-зеленой воды), и разглядеть что-либо отчетливо было сложно, особенно здесь, под наглухо задраенным брезентовым тентом лодки, поэтому я увидел еще кроме силуэтов Натальи и Димы, белое пятно Кристининого лица с большущими темными провалами вместо глаз.

Только видя беспрерывно высоко поднимающуюся и падающую вниз лодку Алика, я представлял, как болтает и нас!

Под тентом, где шум ветра и волн все-таки гасится немного, а видимое пространство ограничено только лобовым стеклом, трудно вообразить амплитуду падений и взлетов. Это ощущается только по тому, как напряженно дрожит корпус лодки.

Да и уже привыкаешь как-то к ударам волн, к шипению и шуршанию воды, стекающей по тенту и стеклу, на котором водой размывается тонкий слой льда, тут же образующийся вновь.

Пытаешься даже дремать, хотя это и не удастся, потому что голова непрерывно дергается во всех направлениях. И как-то тревожно на душе от дрожи корпуса лодки. Особенно когда дрожь эта передается всему, что находится в ней.

Я увидел, что лодка Алика, которая шла уже метрах в трехстах впереди, пошла вдруг ровно и белый бурун воды был виден теперь только за ее кормой. А на фиолетовой ряби Байкала, редко теперь, «паслись» нечастые барашки волн.

«Толстый мыс», – догадался я. Это он прикрыл нас от ветра. «Ну теперь минут пятнадцать, и мы на месте».

Дрожание лодки прекратилось.

Моторы заурчали ритмично, как добродушные шмели на клеверной поляне.

Мне захотелось сказать что-нибудь веселое Кристине и Наталье.

Я обернулся к ним и только тут понял, что мы не сказали друг другу со времени нашего отхода от пирса Больших Котов ни единого слова.

Веселого ничего не придумывалось, и я просто спросил.

– Ну, как вы тут?

– Как в цирке, – улыбнулась Кристина. – То под куполом, то на манеже. Летающая «Сарепта»!<sup>7</sup>

\* \* \*

К пирсу Листвянки мы подошли уже в густых ноябрьских сумерках.

Когда я помогал выйти из лодки, с кормы, Кристине и Наталье с Димой, сладко спавшим у нее на руках, ладонь уперлась в скользкий лед, покрывший тент. «Вот почему мы не смогли его откинуть. Он стал твердым, как из металла». Поэтому и вылезать нам пришлось не с боку, как обычно, а через моторы.

В черной блестящей глубине асфальта мерцали рубиновым светом задние огни «Икаруса», стоящего на автобусной остановке, расположенной рядом с пирсом.

Я, Кристина, Димыч и Наталья дальше до Иркутска поедem на автобусе (так быстрее), а Витя и Алик с семьей – туда же, но по Ангаре, до стоянок своих лодок в заливе, от которого им потом еще ехать через весь город на троллейбусе.

Кристина побежала к маленькому павильончику-кассам – за билетами, Наталья с Димкой устроились на лавке, стоящей возле причала, а я принимал вещи, которые мне с лодки подавал Виктор.

– Ну, все... Последняя поездка... – Я не успел договорить: «в этом сезоне», как Витя весело, азартно подхватил:

– Да нет, не последняя, дружище! Хотя и так могло бы быть. Правда, Алик?!

– Правда, – смеется тот, стоя на носу своей лодки и разворачивая ее веслом (носом от берега), которым он отталкивается от галечного дна.

Я вспомнил черно-фиолетовые валы свирепых волн с белой пеной, срываемой ветром, натужный рев моторов, иногда истерично взрывающихся и молотящих своими винтами воздух, а не воду; уверенные, мощные удары волн о корпус лодки, когда казалось, что вот-вот горохом посыпятся заклепки, связывающие ее корпус; сосредоточенное Витино лицо и его напряженную спину и руки, Наталью с сынишкой на руках, огромные, полные ужаса глаза Кристины и

---

<sup>7</sup> «Сарепта» – тип моторной лодки.

понял, что черная, никем не узнанная бездна уже дышала своим холодом в наши лица и ждала нас со спокойным безразличием, с которым она ожидает любого живущего на этой земле.

Я еще раз взглянул на неподвижный силуэт Натальи с Димычем. И мне вдруг стало так страшно, что холодная струйка пота прокатилась по позвоночнику и даже голос как-то сел и осип, когда я спросил Виктора:

– Какой сегодня день?

– Вторник, – ответил Виктор, подавая мне последнюю сумку.

– Ты ошибся, Витюшка, ничего не бывает повторного! Сегодня воскресенье!.. – крикнул со своей лодки Алик.

Кристина, которая уже подошла к нам с билетами на автобус, сказала:

– Витька, я поеду с тобой!..

– Тогда прыгай в лодку!

Она отдала мне три билета (в том числе и свой) на отходящий через несколько минут автобус...

Взревели моторы.

Лодки плавно и круто развернулись, оставив на воде волновую дугу, и понеслись от берега бок о бок, как на соревнованиях скутеристов.

Темные их силуэты стремительно уменьшались. И размывались фиолетово-черными сумерками, смешивающимися с такого же цвета водой.

Скоро стали видны только два огонька – оранжевый и зеленый, вздрагивающие и удаляющиеся в ту сторону, где Ангара, пронзая пространство и раздвигая скалы, сливается с черным холодным ноябрьским небом над ней, которое она несет на себе, удаляясь от Байкала к Енисею. И в котором над самой водой (или уже в воде?) мерцали нечастые робкие звезды.

Огоньки лодок все удалялись... И, наконец, слились со звездами, также слегка помаргивающими.

И невозможно было разобрать уже, то ли это мерцают огни, то ли оранжевые и зеленоватые ледышки звезд.

Огоньки лодок Алика и Виктора как бы растворились в черном небе...

## **Мы никогда уже не будем молодыми...**

*Моим друзьям – ушедшим и живым*

О чем я хотел написать эту повесть, сотканную из событий давно минувших дней?..

Честно говоря, я сам не знаю этого.

Наверное, о том ощущении щенячьего восторга, охватывающего тебя в молодые лета, когда отважно устремляешься ко всему новому, неизведанному и порой весьма опасному. Еще не ведая о том, как болезненны потом бывают раны, как необратимы последствия...

Конечно, и об этом мне хотелось написать. Но главной моей целью, скорее всего, было желание передать неведомому читателю те ощущения, те настроения своих героев о том, как всем им вместе когда-то было хорошо!

Так может быть в повести, хотя, увы, почти никогда не бывает в жизни.

А может быть, меня просто прельщала магия слов, способная оставить всех, хотя бы на бумаге, молодыми, красивыми, полными светлых надежд?

Или я хотел написать о том неясном, необъяснимом чувстве зарождающейся любви, которая возникает порою из весьма противоречивых и сложных чувств?

А может быть, я силился рассказать об облагораживающем нас общении с дивной природой, такой терпеливой по отношению к человеку? О подводных чудесах и о чем-то еще таком, едва уловимом. Чему и слов-то на земле пока еще нет.

Признаюсь честно: ответов на эти вопросы я не знаю, неведомый мой читатель...

Я проснулся оттого, что кончик носа совсем замерз...

В небольшое квадратное оконце вагончика-балка сочился призрачный свет крупных ярких звезд, густо усыпавших своими голубоватыми «льдинками» бархатную черноту небесного шатра.

Яркий, острый, серповидный месяц словно чуть покачивался в этой глубине, радуя окрестности своей цыплячьей желтизной...

В квадрате окна и этот веселый месяц, и томные мигающие звезды, и бездонная чернота небесного купола походили на бесхитростную, но прекрасную картинку, исполненную простодушным безыскусным богомазом.

В неясном, блеклом свете ночи я все же сумел разглядеть, что шляпки гвоздей – с внутренней стороны стен нашего вагончика и у входной двери в тамбур – от пола до потолка весело искрились инеем. И в этом полумраке они почему-то представились мне озорно глядящими на мир глазенками добродушных и любопытных зверушек...

«Где-то около шести, наверное, – подумал я. – Часа два еще можно поспать. Если, конечно, кого-то холод не поднимет раньше».

Во время общего пробуждения обычно начиналась недолгая и незлобивая перебранка о том, кому растапливать печь. И если таковой герой находился, все остальные еще минут пятнадцать продолжали лежать в спальниках, ожидая прихода в вагончик благодатного тепла, наплывающего от печки плавной волной сверху вниз. Почувствовав его, обитатели балка начинали весело подшучивать друг над другом и надо всем на свете, что только попадало им на зуб.

Правда, если дежурные были назначены заранее, то вопрос создания тепла и готовки завтрака автоматически отпадал.

Причем обычно назначалось двое дежурных, в обязанности которых входили еще и содержание в порядке нашего жилья, хождение за молоком и хлебом в деревню и многие другие повседневные мелочи.

Я вспомнил, что нынче вместе с Давыдовым дежурю я. И это обстоятельство одновременно слегка огорчило и успокоило меня, поскольку Давыдов, ориентируясь по каким-то своим биологическим часам, всегда вставал первым, хотя в обычное время его бывает не так-то просто растормошить.

Я взглянул на светящийся зеленоватыми точками циферблат наручных часов, которые достал из-под подушки. Было четыре часа ночи с минутами.

Положив часы на прежнее место, перевернувшись набок и с приятностью потянувшись, я приготовился опять сладко заснуть, думая одновременно и о том, какой теплый у меня спальник, и о том, что к утру вагончик выстудит окончательно. Так, с этими двумя – теплой и холодной – мыслями, укрывшись с головой, я стал погружаться в приятную дрему...

Вдруг, как мне показалось, прямо подо мной раздался резкий, сухой, как выстрел пушки, звук!

Я выскочил из спальника, наверное, быстрее, чем это сделал бы самый тренированный солдат, поднятый по боевой тревоге. Головой я при этом конечно же ударился о верхнюю полку, на которой кто-то заворочался (спросонья я не мог сразу вспомнить, кто именно) и недовольно пробурчал: «Да спи ты, блин! Это термоклин...»

Все еще туго соображая, я сделал в темноте шаг по направлению к двери и тут же смел со стола что-то, издавшее громкий звук (скорее всего, эмалированную чашку или кружку) и отскочившее по полу куда-то в угол.

На второй верхней полке, расположенной параллельно первой, негромко захихикали...

Не понимая, что происходит, я замер в темноте столбом, чтобы никого больше не разбудить и ничего не перевернуть. Хотя, судя по веселому перешептыванию и отнюдь не лестным в мой адрес репликам, все, кроме Давыдова, со стороны которого доносился легкий храпоток, уже проснулись.

Сам же я испытывал такое ощущение, будто на крыльях сна мгновенно был перенесен со льда Байкала в полуденный час в Петропавловскую крепость Санкт-Петербурга, где в это время раздается звук пушечного выстрела, который потом гулким эхом разносится по всему городу.

Впоследствии я узнал, что явление термоклина, происходящее из-за разности температур – плюсовой воды и минусовой воздуха, – способно разорвать лед даже метровой толщины. Процесс этот сопровождается оглушительным звуком. Правда, если трещина не сквозная, лед на несколько сантиметров в стороны расходится тихо, с характерным шуршанием разрываемой шелковой ткани.

Немного постояв в холодной темноте, к которой глаза уже начали чуть-чуть привыкать, я стал осторожно, мимо Давыдова, спящего прямо на полу в полураскрытом спальнике, из которого угадывались хорошо только белые полосы его неизменной тельняшки, пробираться к своему лежбищу, наглядно убедившись, что выражение «не разбудишь и из пушки» никакое не преувеличение, во всяком случае, по отношению к моему коллеге.

Я улегся на свой рундук, но уснуть сразу, как все остальные, что угадывалось по наступившей опять тишине, не мог.

Через некоторое время высунул голову из спальника и огляделся.

Очертания предметов и спящих людей были неясными и как бы слегка размытыми по краям, будто обведенные более светлой, чем они сами, словно слегка пульсирующей, неширокой световой сероватой полосой. А тишина казалась живой и упругой. И отчего-то было так таинственно, словно через неведомую мне доселе щелку я заглянул за некую невидимую грань, по ту сторону которой могут и непременно случаются разные чудеса. Причем непременно только счастливые.

«Рано... Надо еще вздремнуть. Тем более что завод “гидробудильника” пока не критический. А значит, как минимум еще час ничто не будет принуждать к подъему. Все, сплю...» – с тихой радостью подумал я, прислушиваясь к спокойной тишине и пытаясь перевернуться на

бок. Но... мой очень теплый, собачьим мехом внутрь, спальник, покрытый сверху прочной, «непродуваемой» материей, примерз своим боком к стене вагончика, стесняя тем самым мои движения.

Более удобную для себя позу я все же нашел и вновь, как в теплые воды Гольфстрима, нырнул в него с головой.

Несильный и даже почему-то приятный, слегка нашатырный запах собачьей шерсти ощущался сквозь плотную ткань вкладыша, который я натянул по самую макушку.

Внутри спальника было совсем тихо, тепло и мягко.

«Лежу, как в люльке или коконе», – подумалось мне. И то и другое сравнение не раздражало, а, наоборот, даже вызывало некую забытую детскую радость своей защищенностью и покоем, замкнутостью пространства и самодостаточностью своей, казалось бы, никак не зависящей от внешнего мира...

Кто же нынче первым не выдержит и выскочит пулей из спальника в обжигающе-колющий холод насквозь промерзшего за ночь вагончика, включит газовый обогреватель или, того лучше, раньше дежурных затопит нашу железную печурку, обложенную по бокам и со стороны задней стенки кирпичами? Они плотно удерживались металлическим каркасом с крупными квадратами из толстой проволоки, приваренным прямо к печке.

В эту решетку, как в карманы, мы и вставляли кирпичи. По четыре с двух боков и четыре сзади. Тем самым увеличивая и полезную площадь печи сверху, на боковую ширину кирпичей, и ее теплоотдачу.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.